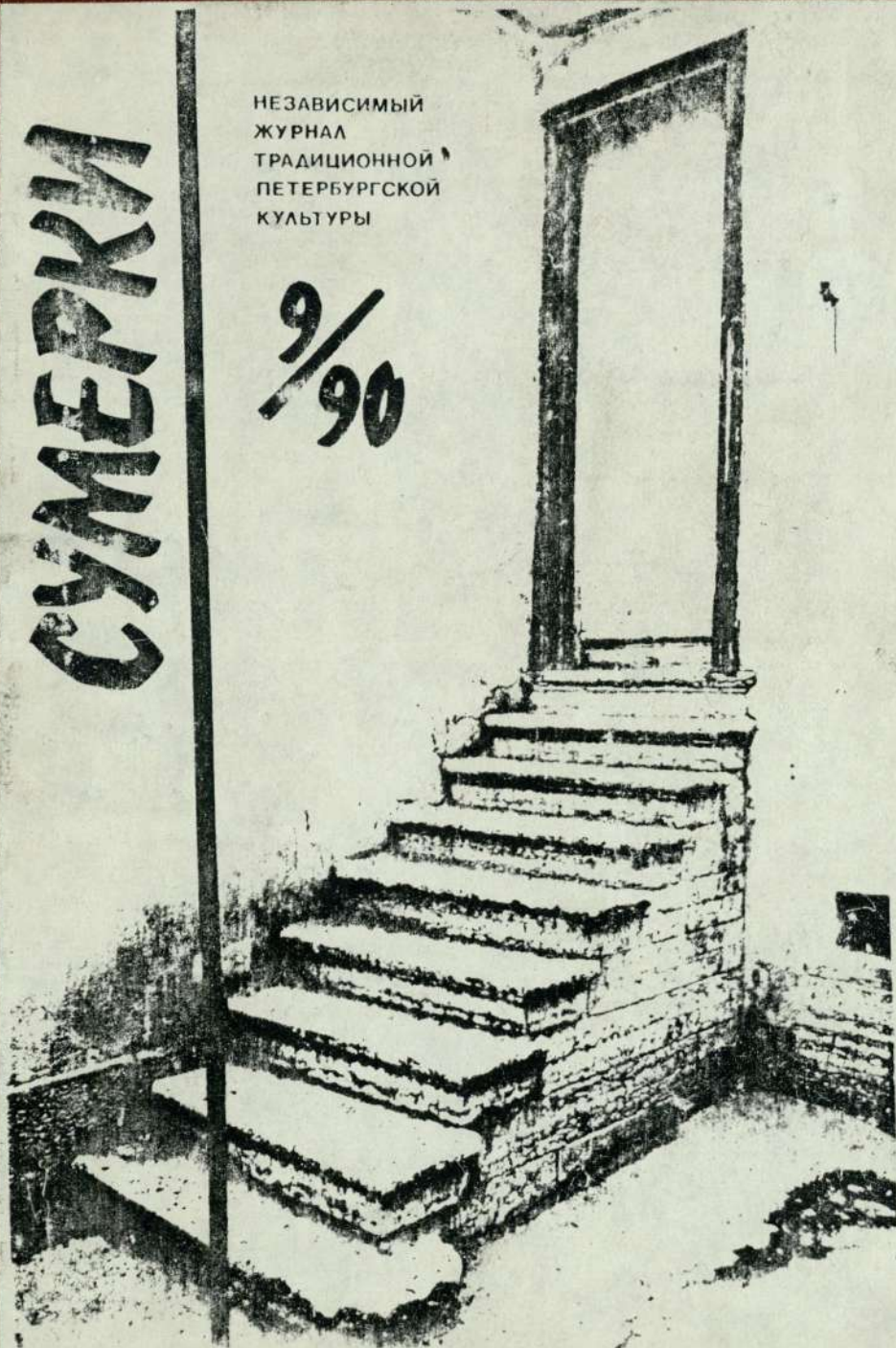


СУМЕРКИ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ
ТРАДИЦИОННОЙ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

9/90



Сумерки —

— ЗАРЯ, ПОЛУСВЕТ:

НА ВОСТОКЕ ДО ВОСХОДА СОЛНЦА, И
НА ЗАПАДЕ, ПО ЗАКАТЕ;

(вообще) полусвет, ни свет, ни тьма,
время, от первого рассвета до восхода солнца, и от
заката до ночи, до угасания последнего солнечного
света

(Владимир Даль,
Толковый словарь живого
великорусского языка)

МАЙ-ИЮНЬ
○
ДЕВЯТЫЙ НОМЕР
○
СПБ

ТОРГОВЛЯ СУМЕРКАМИ

На Невском
ещё горят фонари,
и осенние сумерки
просто изумительны.
Но никто
не обращает на них внимания.
И я кричу на весь Невский:
Внимание!
Продаются свежие
сегодняшние сумерки!
Глядите,
какие необычные,
удивительные сумерки!
И почти бесплатно!
По копейке кусок!
Берите их!
Хватайте!
Распихивайте их по карманам!
Суйте в авоськи!
Не будьте дураками!
Запасайтесь сумерками!
Наступит ночь,
и вы их нигде не найдёте.
Сумерки
моментально расхватали.
На вырученные деньги
я выпил стакан вина,
и мне показалось,
что я несколько продешевил.
Сумерки
были действительно
изумительны.

Геннадий Алексеев

ПОЭЗИЯ ПРОЗА

<u>МИХАИЛ КОРОЛЬ</u>	Из цикла „МОЛОДЫЕ ЛЮДИ“	6
<u>БОРИС ВАХТИН</u>	ДВА РАССКАЗА	16
<u>ГЕННАДИЙ АЙГИ</u>	СТИХОТВОРЕНИЯ	29
<u>ОЛЕГ ЮРЬЕВ</u>	ГОНОБОБЛЬ И ПРОЧИЕ, ИЛИ	39
	В ПОИСКАХ УПРАЧЕННОГО БРЕМЕНИ	63
<u>ОЛЕГ ОСИПОВ</u>	ОСЕННЯЯ ГРАФИКА	

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ 66

<u>ЛИДИЯ АРЕНС</u>	ВОСПОМИНАНИЯ (ОКОНЧАНИЕ)	68
<u>ВЛАДИМИР СИМОНОВ</u>	ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ	90
<u>БОРИС КОНСТРИКТОР</u>	ОТКРЫТИЕ ЛЕПЕРБУРГА	100

ЭТАЖЕРКА 10

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЕКИ:		
<u>ЛЮДИЛА ИЛЬЮНИНА</u>	„ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ХОЧЕТ...“	110
<u>НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ</u>	ОПТИНА (ПОЭМА)	110
<u>ВЯЧЕСЛАВ КОНДАРАТОВИЧ</u>	ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД	120
<u>КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ</u>	НЕКСТАТИ И КСТАТИ (ПИСЬМО А.А.ФЕТУ)	120
<u>КОНЦЕВИЧ И.М.</u>	«КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ»	140

НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ ...	140
---	-----

BOOKSTAND 160

<u>ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ</u>	РУКА	160
-----------------------	------	-----



М. КОРОЛЬ
Б. ВАХТИН
Г. АЙГИ
О. ЮРЬЕВ
О. ОСИПОВ



ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

Михаил Король

Из цикла

Молодые Люди

"...ибо помысел сердца человека
зол от молодости его..."

Бытие, 8-21

АДАМ

Эту родинку, слева, под мышкой, слизнуть языком
Я готов, моя радость. О, нежная Хава, о ком
Ты твердишь? О каком ты толкуешь великом творце?
Кто создал, кто назвал?...Об улитке, о тле, о скворце,
О деревьях, о змеях молчи. Просто названы так.
Ничего я не помню. Царапай, кусайся. Пустяк -
Этот сок, что на коже. Он кровью зовется. О боль!
Или просто губами к губам прикасайся. С тобой,
Я с тобой. Ничего мне не нужно. Не надо, молчи.
Эти горы - как трупы, а море - лишь лужа мочи.
Ненавистны мне запахи! Пахнут цветы, как навоз,
По сравнению с тем, что вдыхаешь в пучине волос
Твоих пляшущих. Хава! Сказала ты: "Брат!"
Почему? Не хочу. Ты уверена, что из ребра?..
Моего?..Желтоватой и острой дуги?
Получилось блаженство? От мысли такой убеги.
Ты уверена, что из ребра? Хоть сказала же - "брат"...
Вот смотри: на земле твоим пальцем рисую квадрат.
Отчего ты дрожишь, ведь не ветер рисую, не гром?
Можно каждую сторону, Хава, назвать и ребром.
Значит, ты моя часть, моя плоть, а не кость, сторона,
Моя грань; так царапай, кусай и целуй меня - на!
Пей мой сок и не думай о страшном, о том...
Эту родинку, слева, под мышкой, слизну языком...

Составление: "Сумерки"

КАИН

Братец мой бедный с именем легким, будто дымок,
Нет, не бесследно ты исчезаешь... Так и не смог
Каин несчастный к Б-гу подняться... О, помоги!
Жертвы напрасной пусть не дождутся наши враги,
Чьи-то потомки, что над тобою будут рыдать,
Голос их громкий слышишь ли, Авель? Вот благодать!
Нет, не покосы трав бесполезных выпало сжечь,
И безголосой, мертвой и бледной кажется речь,
Вверх обратившись, если такому Б-гом дана...
Авель, братишка, именем легким станет вина.
И безобидно, словно снежинка на тающий лед,
След аскаридный в небе оставит наш самолет.

АВЕЛЬ

Может быть, Каин, ты думал, что одурманен мой взор?
Видел я, как ты подбросил в жертвенник мне мухомор.
Видел, как шляпка подпрыгнула. Б-же мой, как хороша!
Красный кругляш облизала, нет, не искра, а душа.
Галко, но сам ты отравлен, хоть не смертельно, но так,
Что твои дети не смогут знать про потешный пустяк.
Где-нибудь там, на Олимпе, чувствуя славу вина,
Правнуки Каина вряд ли вспомнят свои имена:
Ханох, Ирад, Тувал-Каин, Лемех, Наама, Йувал...
С чавканьем гриб разлетелся. Белые крошки. Провал...
Только Гефест, Афродита, Пан, Дионис, Аполлон...
Сыро в лесу предосеннем. Тянется дым под уклон.



ЭНОШ

Слава Б-гу, мозолями метит ладони мотыга — не каменный нож,
Да и тот штука мирная, впрочем, когда им владеет Энош,
Ибо суть проявляется, словно серебряный клок в бороде, —
Я хочу видеть правнуков так же, как видит их старенький дед,
Сотворенный из глины, из мяса земного Адам;
Он твердит домочадцам, что рад бы вернуться туда,
Но сперва пусть потоки у ног разбушуются, как океан.
Слушай, слушай, прадедушку, мой шамовливый Кейнан,
Он-то знает, какое шитье белой ниткой его борода
Чуть коснулось, он знает причины, поскольку отведал плоды
В своей юности с дерева, росшего в месте Эдем,
И за это был изгнан оттуда, просветленный и голый. Затем,
Кроме счастья с женой и тяжелого вечно хливья,
Он увидел весь ужас, в который его сыновья
Окунулись, с убийством связавшись, и понял Адам,
Что наделал в Эдеме, когда прикоснулся к плодам,
И вину заглушить может только потомства поток.
Слушай, слушай прадедушку, мой желторотый сынок.

МЕТУШЕЛАХ

Нет, мне еще не надоело, мне очень нравится смотреть,
Как сотни лет река петляет, но обмелела лишь на треть.
Все хорошо, и воздух чистый, и внуку стукнуло пятьсот,
И поясница ноет редко, да и не ноет, а поет.
Мафусаилов день — счастливый, а ночь хрустит, как землеллах,
И жены стонут, насладившись: "гиви, живи, Метушеллах!"
Я и живу, и зубы целы, и сыну, кажется, семьсот.
Все хорошо. И фруктов много. И овощей. Тучнеет скот.
Почти не мучает изжога, не бесит в памяти провал.
Смотрю на реку. Обмелела. И Б-г с ней. Озера овал
Темней, чем прежде. Лес разросся. И Б-г с ним (где-нибудь в горах).
И Бог со мной. И пульс нормальный, Гиви, живи, Метушеллах!

НОАХ

Запах гнилой древесины, рыбы подохшей, горькой воды
В кожу впитался, въелся в одежду, и от еды
Так и несет наказанием, гибелью тварей; сто пятьдесят
Суток вопящих в море потались, но Арарат!
Эти долины, растения, женские пальцы, кислая плоть
Поэдри на них прикрывают, дует на память Господь.
Только б она не свернулась, с детства пугает вкус творога.
Понюхайте, пленка забвенья — как мне она дорога!
Известья другого не надо пьяному телу, снотым прохам.
Что ты разлила зевая, что тебе надобно, Хам?
Запах гнилой древесины, рыбы подохшей, горькой воды
Ты источаешь. Уйди же! Ты оскверняешь плоды,
Давные нам за окитанья. Лучше занепись, мой моралист!
Что ты своешься? Уйди же! Мне не протививай лист,
Лист виноградный, трехзубый — словно уродливый, бешеный рот...
Кто моя память створочит — Б-г проклянет его род.

ХАМ

Этот воздух и снег на горах, виноград, человеческое пенье —
Все на смехе замешено. Смех — вот материя благословенья.
Как смеется над нами вода, превращенная в сок виноградный,
Как хихикает сок, забродив! Как, напившись изжори прохладной,
Лохотам, заливался отец! Как подбрасывал кверху одежду!
Ну, конечно, конечно, смешно: эти голые ноги и между!
Как я рлал, убежав из шатра, как икал от веселого стога!
Братья-буки, Йафет мой и Шэм, это что за гнилая попона?
На какого еще мертвеца вы набросите эту рванину?
Вы куда потащили ее? Там же папа! Я видел ту глину,
Из которой был слеплен Адам, из которой — и жизнь, и тленье,
На которую (смех-то какой!) Он расходует благословенье,
На тебя, мой Йафет, на меня, на отца и на гордого Шэма.
Что за бред эту плоть прославлять? Эту муть... Идиотская тема!
Вот смеяться над ней благодать! Вот ребятки мои, толстогубы,
Усмехнутся, тараша белки, демонстрируя белые зубы.

ИАФЕТ

Стало тесно в стране этой крохотной, Что же, пора расходиться.
Вы простите, ребята, но ваши перестали мне нравиться лица,
Нет ни живости в них, ни геройства — одни суетливые тени.
Стали цвета такого они, словно осенью поздней растения.
Не хватает вам жизни в прожилках и шмелей ненасытных в соцветьях,
Да и те дурно пахли, теперь — только голые веточки. Э-третьих,
Что вы миру дадите? Детей? А они что дадут? Будут внуки?
Человечество? Серость одна? А искусство, ремесла, науки?
Ну, какие вы вялые, братья, на мое посмотрите потомство —
Вот Гомер, он до Рейна дойдет, вот Иован, свою рукопись скомкав,
Отправляется в Грецию жить и по-новому стихосложение
Разработает. Вот и Магот, и Тувал, и Тирас да в дашенье
Целый мир приведут! И Мардай! Он обгонит вас в знаниях пелих,
Континент на две трети займет симпатичный парника мой Лемех.
И гордиться мной будет отец, я как змий всех мудрей, я как птица
Все увижу. А в этой стране стало тесно, пора расходиться.

ШЭМ

Разбойники, Йафетовы потомки! Во что вы превратили Шэма, дети?
Арабских сказок начитались, напрыснись вам черте что — в дудках,
объеме, цвете.
Травинка острая оставит вкус соленый, Алибаба посвистывает
в дудку —
Сим-сим, сим-сим — и разве это имя? Не только мне, какому-то
ублюдцу
Грех негалечить, исковеркать звуки, которые считались лишь твоими.
Ах, переводчики, халтурщики-поэты, мне имя Шэм, и это значит —
"имя".
Хам славен силой, а Йафет — мозгами, культурой умственной, образова-
нием высшим,
А я лишь мостом и мостиком с Всеобщим, и вот мы полюбимся, ругаемся
и пишем
Трактаты мудрые, о будущем сказанья, о том, как будем жить у
Ленина в Разливе,
Потом опять ругаемся, и молим, и просим Небо сделать нас счастливей.
И пахнем землей, здесь, у Арарата, плодим потомство и сосем мадеру,
Не разобились еще, не раздробились, не извратили силу, знанье,
веру.

ТЕРАХ, ОТЕЦ АВРААМА

Лицемерные речи Нимрода о Б-ге — о какой вызвали торжественный
страх!

Во дворце столько идолов — глиняных, скальных, алмазных, свинцовых..
Беспредельно наивный Терах.

Я им, каменным, перил, железным, кленовым, на сына
я кричал истерично, а тот

Говорил мне спокойно, что верить, конечно, прекрасно, но при чем
деревянный пузатый урод...

Что он, может, ведь сделан намецни руками? Послезавтра он сам
превратится в труху,

Хватит идолам кланяться, папа, говорил мой Аврам, заигрались
мы тут в чепуху.

Может быть, я и сам понимаю, что это безумно, но как червом играет
их сладостный цвет золотой!

С обожаньем взирают на гладкую жуть изваянья, ну и что из того,
что божок мой до звона пустой!

Он красивый и страшный, ему расскажу про скитанья, как до Ура
добрался и дальше собрался Терах,

Как пугает меня Араратская родина предков, там уже притаился
в горах удалой Карабах-Барабах.

Семихвостой змеей он плеткой свистящей грозит, его камни летят
в наш уютный такой огород...

Ох, как трепетно жить, не спасают от страха скульптуры, только
новый внушают... И сам наш владыка Нимрод

Башней жуткой наводит щемящее чувство паденья. Неужели не стал
нам уроком не так уж забытый потоп?

В океане божков рукотворных потонем, погибнем, гулко стукнувшись
лбом о дубовый или бронзовый лоб.

ЛОТ

С муравейником под ливнем настроенье Лота схоже:
Тыщи чувств членистоногих, мириады тонких ножек
Скрылись, спрятались. Затихли насекомые эмоций,
Ловко бегавших под сердцем, щекотавших... Вы, уродцы,
Что ж покинули вы Лота, прежде мучавшие сворой?
Неужели напугали вас потоки над Гоморрой?
Неужели удивила вас над женщиной расправа,
Отмянувшейся на город, тот, который съела лава
За разврат, за извращения (сексуальные) Содома?
Все, увы, закономерно. Наказанье молодому
Любопытству женской плоти неминуемо, и, кстати,
Я ее предупредил ведь... И теперь один в кровати
Вспоминаю о застывшей – первом памятнике женам,
Первой стеле ностальгии, монументе, обожженном
Серным ветром... Неужели отупели чувства Лота
От того, что дочки пьяным овладели телом? Что-то
Не пойму про их потомство: кто мне – дети или внуки?
О, как сыро здесь, в пещере! Что ж наделали вы, суки,
Равнодушием и скукой наградившие папану,
Что сидит в опенении, неспособный эту кашу
Расхлебать железной ложкой бывшей воли и упорства?
Пусто. Стулор. Ни желаний, ни чудачеств, ни притворства...

АВРААМ

Не бойся, уйми свою дрожь, умойся, Ицхак, успокойся.
Пойми: ничего не вернуть, да нет же, не трону, не бойся!
Ладони потеют? Да, нет! Но в правой сквозит ощущение,
Что в ней неприятный предмет зажат до сих пор: утолщенье
И треснувшей ручки изгиб впечатались в линии жизни...
Не бойся, никто не погиб, не погибнет, не брызнет
Багровый густой самогон из лопнувших трубок на кожу,
Никто не нарушит закон о жертве... Ицхак, потревожу,
Прости, ты и так не в себе, но все же подвинься, послушай:
Я думал вчера о судьбе, но, кажется, нет ее. Тушей
Навалится время на нас, парным обескровленным мясом.
На этой горе, где сейчас дрожим от прошедшего часа,
Появится Храм, а потом разрушат его, восстановят
И снова ворвутся в наш дом. И снова оставят без крови.
Какая судьба? Со свечой, с огарком, Ицхак, с фитилечком
Сведут твоё имя. Плечо (замерзнешь!) укрой, ну и ночь!
Я тоже дрожу, мой Ицхак. Той свечки представи я пламя,
Три цвета в нем, этот пустяк, как накрепко связан он с нами!
Мы сами как пламя... Молчи! Его расчленишь невозможно!
Мы пламя той самой свечи... Молчи! И дыши осторожно!
Кто третий? Конечно, мой внук! Он будет смеяться, но если
Шипящий послышится звук... Когда-нибудь в стареньком кресле
Я вспомню об этом, на стол бумагу проклятую брошу.
Ты снова мне руку отвел... Ты снова утроил мне носу...

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЦКАКА

Счастлива та, что нырнет в твою волосатую грудь.
Благословляю, Эсав, эту шерстистую сугь,
Этот колодец любовный, полный небесной росы,
Пусть ее хватит для всех: и для пчелы, для осы,
Стадо твоё пусть растёт по сумасшедшей кривой,
Братьями владушкой ты будешь... Кажется, будто не твой
Голос я слышу, Эсав! Ты простудился, охрип?
Будь осторожней, сынок, - вещь неприятная грипп.
Ну, подойди, поцелуй. Б-же! Как пахнет козлом!
Благословляю тебя, будь осторожней со злом,
С мелким враньем, с мошкаркой, надо уладить дела,
Пусть будут сыты, спокойны все: и оса, и пчела.
Прокляты - кто проклянет, возненавидит тебя.
Как мне приятно лежать, руку твою теребя.
Счастлива та, что войдет в этот несокошеный луг.
Только вот голос, твой голос, странный мучительный звук...

ЭЙСАВ

Как тебя увижу, Иаков, сразу зуд поганый в пятке
Ощущаю. Изнываю. Нет тебя - и все в порядке.
Похититель первородства, хитрый вор благословенья,
Что мне папа приготовил, нет к тебе расположенья!
Ты мне, брат, не симпатичен, даже твой всегда пристойный
Вид меня коробит, мутит. Эта гладкость кожи! В знойной
Нашей местности уместен цвет лица и рук багровый,
Ты же, даже загорая, не краснеешь. Из-под крова,
Мне родного, я сбегая. Иаков! Имя ненавижу!
Иаков! Пятко осквернитель - нет, не смей (ты понял?) ближе
Подходить ко мне. Не верю безволосому пройдохе.
Мы враги с тобой навеки, в каждой взмыленной эпохе
Эйсав вспомнит эту пятку, Эйсав вспомнит все обманы;
Нет, они не расползутся, как по кухне тараканы.
И оружие поднимет Эйсав против подлых знаков.
Ты, хватающий за пятку, опасайся брата, Иаков!

Q2107: 078.33 4.58. 2777. 33. 277. 25

Из "ПЕСЕН ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО"

ВЫЗОВ

... Так внезапно бьют хвостами полудохлые пуцовые сомн...

Верю, вижу: "Как бараны, горы, горы побежали, поскакали, и
холмы -

Как ягнята". Пальцы, руки потеплели, разорвавшие конверт,
И оттуда Вифлеемом, как мускатом, и бадьяном, и гвоздикой - на
десерт.

Галилея и Кенерет, длинный росчерк Иордана и на солнце выцветающий
Негев

Каждый день теперь на полке, на полгода, но не больше, будут,
будут нас тревожить, дикий путь преодолев.

А ведь как ругали сервис! Вот дождались... И бумага, может быть,
чуть-чуть белее и шершавее лица.

.....
Три листа лежат в салфетке, пахнут почтой и Исходом, пахнут хреном
и корицей, как пасхальная маца.

О чем говорила мне моя бабушка

Неправдоподобно давно моя бабушка сказала мне, грозя пальцем:

- А я докажу тебе, что бог есть.

- Как же?

- Когда я умру, я отпущусь у бога и приду к тебе как-нибудь ночью. И докажу тебе, что бог есть...

Моя бабушка воспитала одиннадцать человек своих собственных детей.

Бабушка присела у моей кровати, а чуть подалее под картиной - разрезанный ароз на серебряном блюде - присел невзрачный человек - кажется, наш сосед. Он был какой-то серый и во всем средний, только очень молчаливый.

- А он вырос! Как вы находите? - спросила бабушка.

- Вырос, - сказал серый сосед.

- Но внутренне совсем не изменился! - продолжала бабушка. - Так же смотрит, так же видит, наверно, и думает так же.

- Нет, иначе, - сказал я. - В детстве мне думалось как-то беспорядочней и труднее, а сейчас думается легче. И потом в детстве, я помню, всегда что-то придумывал, что будто бы произошло со мной. Шел - придумывал, ел - придумывал, играл - придумывал. Придумывал страны, города, войны, походы и драки. Особенно драки. Как на меня нападает пятеро врагов, а я им хладнокровно говорю: "Берегитесь! У меня в руке страшное оружие!" Но они не берегутся, и тогда я пускаю в ход это оружие. Это был невидимый луч, который сбивал с ног любого. И все пятеро падали как подкоженные! И тогда я приказывал им быть всегда благородными и честными, иначе мой луч снова покарает их. И мы становились друзьями и шестером

Два рассказа из книги "дневник без имён и чисел".

В одном из ближайших номеров журнала редакция предполагает продолжить публикацию отрывков "дневника..."

Тексты предоставлены вдовой писателя Ириной Владимировной Вахтиной, которой мы выражаем свою благодарность.

отправлялись в поход против злых жителей неприступных гор...

- И ты поражал их лучом и приводил в свою веру, и так до тех пор, пока не надоело играть, - сказала бабушка.

- Да.

- Ну, ты-то был не очень смелый в детстве.

- Но и не трус, - сказал я.

- Не трус, - сказала бабушка. - Ты только ссорился, дрался, спорил как-то не всерьез.

- Не всерьез, - сказал сосед.

- Но почему же не всерьез, - возразил я. - Ведь время шло.

- Мимо, - сказала бабушка.

- Чепуха, - отмахнулся я. - Вы очень поверхностно все видите. Воображение было все-таки одно, а я был совсем другое.

- В чем же так уже другое? - спросила бабушка.

- Все дело тут в застенчивости. И стеснялся обнаружить себя. Обнаружить, что я смелый, что я решительный, что я - действительно. Мне это казалось некрасивым. Оттого и воображение...

- Ох, - сказала бабушка, - как я любила кузаться около той ивы, помнишь?

- Помню. Там стоял старый челн, и на нем одевались.

- Хорошие были места там, - вздохнула бабка. - Только от железной дороги далеко.

- Далеко, - сказал **серый** сосед. Он был похож на серую ночную бабочку.

... Места были далеко от железной дороги, и бричка качалась на рессорах, как тот челн, и конский хвост попадал мне в лицо, и черные силуэты деревьев кружились вокруг меня, и стучали стуки копыт, и пахло незнакомым, и казалось, что едешь вниз и вниз, и не было конца спуску. До утра было далеко, до деревни было далеко, и только сон был рядом - знакомый, свой сон, в котором только спуск был новостью. А потом я проснулся, и меня знобило, а над головой висела ветка, и она была темная, а небо над ней чуть светлее, и какие-то голоса переговаривались, кто-то целовался, кто-то прибавлялся и прибавлялся к нам в полумраке, а затем меня поставили на затекшие ноги и куда-то повели, и в этом куда-то горела керо-

синюя лампа, теснились люди и тени.

Мне дали парного молока с куском сахара, и пошло что-то, состоявшее из вещей, двенадцати рублей, к которым требовалось добавить рубль, "чтобы было ровно на", из "ну, как вы тут", "где мы положим его", "поезд стоял всего одну минуту, а проводник не отпер дверь", из продолжающегося спуска вниз и светящегося креста окна, рядом с которым выступала из темноты дверь.

Эту дверь мне открыло "можно", я вышел...

Утро внесло ясность, новизна дала масштаб деталям.

В этом утре было яркое солнце — навсегда оно осталось во мне.

Были запахи — влажной от росы травы, куриных перьев, деревянной веранды, куста жасмина — навсегда они остались во мне.

Звякнула щеколда калитки — тогда и теперь одинаково.

И было много всего и было много не: не шумел ветер, не бежали по небу грозные тучи, не трещали резко дрова в печке.

А певуче вставало солнце, и свет его погружался в туман зримо, как пальцы в светлые пряди. И туман исчезал из этих прикосновений, снимаясь слой за слоем с садов, дуга, реки, вдоль которой росли зеленые шары ив.

И слой за слоем свет и новизна снимали с меня то, что было до того.

Ах, да! Я отвлекся и совсем забыл, что ко мне пришла бабушка. Что это она там?

— ... И тогда ты ел только картошку с луком и постным маслом и трюфели, — сказал серый сосед.

Только сейчас я удивился: а откуда взялся этот молчаливый человек? Я не помнил его, только его неопределенность была словно знакома. Порою он почти совсем растворялся в белой обивке кресла. Глаза устали вылавливать его, я перевел взгляд на черные косточки нарисованного арбуза.

А бабушка что-то говорила и говорила.

— Больше всего мне нравился Шопен. Ты помнишь, я тебе как-то играла? Тогда мне было уже сорок пять лет, но фигура оставалась превосходной, и за мной ухаживал вот он, — и она указала на соседа.

— Да, — сказал сосед.

Он вдруг встал, подошел к моей постели и стал смотреть на

меня, не отрываясь.

- Э, что вспоминать! - сказала бабушка. - Я тогда была покорна мужу до того, что он мог сунуть меня живую в печь - я бы не противилась. Теперь тебе можно это слушать, большой стал. Наверно, больше моего знаешь о любви...

... Знаю о любви..Это было там, среди сосен. Бурая хвоя на земле, небо в зеленых иглах, красный сарафан, босые ноги. "Разве не колко ходить по хвое?" - "Нет, она почти пушистая. И потом я люблю так". - "Это чудесно и просто - пушистая хвоя! Кто вы?"

Вы - вы, ты - ты, мы....

Она играла на скрипке, взгляд ее был всегда на том месте, где смычок высекает ноту из струны - даже когда она говорила с кем-нибудь. И она не видела меня, и она оставалась она годы, не становясь даже вы.

Мы, она, они... Кавказские горы и кентавры, море и раскопанные ятушки, топот копыт и звон цепей, виноградная гроздь звезд и горсть тяжелого лунного света... Мы, она, они...

С чего это все началось? С действительных мелочей, в которых трудно признаться, и с безграничных воображений. Но тогда и тогда сердце билось одинаково, страх был одинаков, энергия была одинакова. Только первые кончались легко и счастливо, а вторые всегда тяжело и скверно. И потому первые оставались ничем, вторые казались всем.

И зигзагами между ними металась истина.

- Тогда у меня пригорела каша...

Опять она что-то талдычит! Принесла нелегкая!

- Да ты меня не слушаешь, - сказала бабушка. - А я все не могу забыть, как тогда расставалась с тобой. Словно чуяло сердце, что долго еще не встретимся. Ты еще молод, поживи с мое, поймешь, как это расставаться с детьми или внуками. Отец твой из дому ушел, из-за отчима, - ножом по сердцу; от тебя ушла - ножом по сердцу. От тебя даже хуже - старее стала.

- Хуже, - сказал сосед. Он все еще стоял у моей кровати и смотрел на меня. Я глянул на него и понял, что он подавился каким-то словом. Он напрягся, и напружинился, и, мучась, силился выбросить

из себя это слово — и не мог, и не умел. Только таращил на меня глаза. До чего же он мне, оказывается, неприятен!

— Ты теперь стал писателем? — спросила бабушка.

Да, говорят, это так.

А это когда началось?

Это долгий разговор, время для которого еще не пришло...

Да и придет ли когда, не знаю. Тут очень легко сказать неправду, а мне не хотелось бы говорить неправду, когда ко мне пришла моя бабушка. Что это она там говорит? Ах, опять все то же самое.

Я ее очень люблю. Только причем тут этот серый человек?

И вдруг сосед зарокотал, как вулкан. Он напрягся еще больше, побатровел. Вот лопнула и пошла трещинами поверхность его лица, расколосся, открываясь, рот — он взорвался тем словом, что мучило его, тем словом, ради которого он пришел...

— Пошли, — сказал он мне.



Путешествие внутри одной мысли

В детстве я очень любил капитана Геттераса - ему было холодно, но он шел вперед.

Это как бы вместо эпитафии, с той только разницей, что никакого - ни по смыслу, ни по стилю - отношения к дальнейшему повествованию эти два абзаца не имеют, и, прочитав, лучше тотчас их забыть.

Герой излагаемого ниже путешествия - безразлично, был ли это я или не я, т.к. все равно придумал и написал все я - вышел рано утром на лестничную площадку, где остановился, тщательно запирая замки на своей двери. Мимо, оживленно скалдая, прошли две женщины неопределенного возраста домашних хозяек. И одна из них сказала:

- Что это в вас прямо как бес вселился сегодня, Клавдия Ивановна!

Герой пошел на работу, поработал, вечером вернулся домой, отпер снова все замки на своей двери, зашел к себе, сварил кофе, прочитал газету, лег с книгой на диван и только тут заметил, что весь день его неотступно преследуют случайно услышанные слова: "вселился бес". Не то чтобы он обдумывал эти слова, не то чтобы он ставил себе цель что-то понять и в чем-то разобраться, - нет, просто к нему привязались эти два слова, как мотив не нравящейся песни.

Это было похоже на подготовку к секретной экспедиции. Еще неизвестно, что будет впереди и куда вас намерены отправить, а вы укладываете в чемодан вещи, свозите и скупаете то, что пригодится везде. Так было и с ним. Голова, где жили слова: "вселился бес", свозила и готовила некие запасы ассоциаций - намеки, оттенки, запахи, цвета, звуки. Беспорядочный материал, годный для любой постройки, кучу металлических опилок, которые ждали какой-то магнитной силы, какого-нибудь толчка, чтобы приобрести структуру осмысленности.

Несколько слов о той обстановке, в которую я счел нужным поместить диван с героем.

Комната его была непомерно большая - казалось, что пол ее выпуклый; а прямоугольный паркет воспринимался как меридианная сеть. У стены на диване лежал он, обозревая просторы комнаты.

Собственно, что хотела сказать женщина? Что другая раздражена, что она, очевидно, резко отвечает, не щадит собеседника?

Несколько лет назад зимой был тот разговор:

— Я. — Я. — Я. — Я. Словно качали вдвоем насос, и то один одолевал, то другой. И работал насос ведь только пока "я-я-я-я". Ведь на "я-ты — я-ты" ничего не выйдет. А ты закричал вдруг "ЯЯЯЯ" и повис на своем, и все кончилось.

А помнишь, в детстве в драке тебя повалил на землю кто-то сильнее, и тогда ты убежал из того, которого повалили, убежал из страха и потому, что тебя не могли повалить, а раз повалили, значит, не тебя. И с тех пор ты бродишь где-то отдельно, напуганный просто страхом и страхом не просто. Вернулся ли ты или стоишь где-то в сторонке и смотришь на лежащего на диване? Мог бы ты так лежать?

... Идиот почталъон! Зачем так долго и нагло звонить. И приесть-то дрянь какую-то. Как это грубо и не деликатно — звонить. Человек занят чем-то своим, ему нельзя оторваться, нужно додумать важнейшую мысль, не потерять ее, а он звонит, звонит, звонит.

Мысль провалилась куда-то в голове, и, может быть, ее уже никогда не найти. А жаль, это была очень интересная мысль, из тех, что надо бы записывать. А так она потерялась, и нет ее.

Какая глупость! Разве можно записать мысль! Даже сказать одно и то же дважды нельзя! Записать мысль. Можно только засечь место, по которому только что пробежала мысль, не больше. Запись — что верстовой столб на дороге: он отмечает дорогу, но что говорит он о дороге, о тех, кто шел по ней? Где же ты потерял след мелькнувшей мысли? Где-то там, зимой, около той скамьи, с которой ты встал первым и ушел, а вслед тебе сказали "люблю и буду любить всегда", а ты шел и шел, потому что это сказали тебе, а не тому, из которого ты убежал. Тот, покинутый, за эти годы вырос, стал сам по себе, у него все стало, как у него. Что ж! Ты сам виноват. И того оскорбило, что выходило не по его, что он не смог убедить, победить.

Убедить! Вот оно. Вот то слово, которое спугнул почталъон. Как хорошо, что я его догнал, схватил и теперь можно отдохнуть.

Это был тяжелый перегон, большой путь, трудная работа. Но я его догнал. "Убедить!" Подожди, посиди немного рядом, не спеши. Давай отдохнем, прежде чем ты поведешь меня в свои края — страны, что в тебе. Ведь не забывай, что мне было очень больно, пока я гнался за тобой.

Какое ты, однако, хитрое, это слово! Как ловко ты свернуло в сторону и хотело спрятаться за мысли о ней, о юности, чуть ли не о детстве. И я едва не проскочил мимо, и тогда ты навсегда удрамо бы от меня. А мне подсунуло бы взамен какую-нибудь фальшивку, вроде соседской девчонки с личиком Мадонны, худощавыми ногами и удивительно грязными пальцами — и на руках, и на ногах.

Но ведь я поймал не слово, а нечто, что стоит за ним. Что же это? Пора посмотреть.

Вход. Это просто и банально. Не очень почему-то приятно, но надо входить. Дорожки, аккуратно, порядок, линейность. Все независимо от тебя. Все занято чем-то своим — ритуальным и строгим. Какие-то фигуры, которые ходят к тебе спиной, — вашиные, чопорные. Ты чувствуешь, какой ты суетный, ненастоящий, всклокоченный?

Что это? С диким криком из белого здания, которое ты сразу и не заметил, выскочил кто-то, танцует, раскидываясь, убежал прочь. Крик лег на песок аккуратных аллей, черные фигуры удивлением бровей проводили бежавшего и снова занялись чем-то неторопливым и ненужным.

Может, уйти? Ну его к черту, что мне здесь надо? Ведь ничего действительно стоящего. Колната у меня немножко великовата — такая, что даже не сразу видишь стены — но зато в ней мне как-то по себе. А здесь страшно. Так все размеренно, так уверенно, а вместе с тем очень уж все неопределенно.

Но вот ко мне подошла черная фигура — лакей что ли? — и спросила надменно: "что угодно?" И сама же ответила: "Дорого, идемте!"

И я вошел в белое здание.

Там был огромный совершенно пустой зал, и в одно из кресел усадили меня. В конце зала на небольшом черном возвышении стоял человек, который тотчас обратился ко мне с очень простой речью:

- Здравствуйте, рад вас видеть. Вы, надеюсь, уже поняли, что поврата вам отсюда нет? Перед вами был здесь один, уверял, что поэт, потом убежал. Забавный! Он думает, что если будет кричать и размахивать руками, то куда-то выберется... Вы, очевидно, думаете, что с вами сейчас будет нечто вроде гипнотического сеанса? Это было бы самое простое - внушить вам то, что мы хотим...

Я почувствовал, что пора, и сказал:

- Боюсь, что это самое сложное: внушить.

На его лице я увидел неудовольствие и понял, что сказал, что было надо.

Он метнул глазами вверх, на секунду задумался, а потом сказал:

- Дорогие друзья!

И тут я увидел, что зал переполнен, что он буквально забит разряженными, возбужденными людьми, которые переговариваются, переглядываются, внимательно слушают того, кто стоял на возвышении, следят за выражением его лица.

(Мне кажется своевременным напомнить, что решительно все здесь написанное я выдумал - буквально от начала и до конца выдумал - и не нужно принимать этого всего всерьез, как если бы оно случилось на самом деле. Я очень бы огорчился, если бы у кого-нибудь возникла хоть малейшая иллюзия правдоподобия).

- Дорогие друзья! Мир прекрасен, и самое прекрасное в нем - человек. Так? Эта мысль проста и понятна, и прост и понятен вывод из нее: все для человека, все во имя человека! Так?

Мне понравилось начало его речи, я подвинулся в кресле и глянул на соседку. Ей, видимо, тоже понравилось.

- И разве не чудесно, что все свои силы, свои возможности и способности мы с вами можем отдать во имя человека! Во имя того свободного и гордого человека, который будет владеть миром, - но не один, а в дружбе с другими такими же свободными людьми, как и он! Так? Сияющее завтра! Разве не видите вы его лучей, долетавших к нам в сегодня и наполняющих нас радостью и уверенностью в своем пути!

Зал ликовал. Соседка взглянула на меня горящими от волнения глазами. О своих глазах я уже ничего не знал.

— Как это прямо и просто.

— Что может быть другое?

— Я за него — в огонь и в воду.

— Мне кажется, что я это всегда думал.

Так говорили вокруг, и вдруг кто-то спросил меня:

— А вы что скажете?

Действительно, что я скажу? Соседка повернулась и ждала моего ответа с волнением и сочувствием.

Я подсознательно знал, что от меня не требуется подробного ответа. Нужно было только коротенькое "да", даже просто можно было одобрительно кивнуть или даже чуть-чуть кивнуть головой. Они все были бы так рады, да и я, пожалуй, почувствовал бы себя легче.

Но тут некстати вспомнился мне тот детский эпизод, когда я убежал из поваленного себя, и я подумал, нельзя ли и тут так: пусть вот этот, что сидит в кресле, кивнет, а я посмотрю, что из этого получится. Но какая досада! Тот, который мог бы кивнуть, лежит на диване — я как во сне вижу его неопределенные очертания, — а здесь я одинок, и никому за меня кивнуть. Можно было бы отдать часть, из нее сделать того, который кивнет, Какую же часть отдать?

Во мне бездна себялюбия, тщеславия и гордыни. Пусть они пойдут и кивнут. Не жалко.

Но почему таким хорошим словам, с которыми все вокруг согласны, которые всех вокруг радуют, должно сказать "да" то, что мне не жалко, то, что мне нехорошо, что оно есть?

Ах, черт, как долго я думаю, а они ждут с неудовольствием, и сейчас они скажут мне что-то неприятное, что зачеркнет меня, выбросит вон, оставит жалкого и беззащитного где-то, где одиноко и холодно. И вот тот черноусый и рослый, что поглядывает на мою соседку, пересядет на мое место.

Ну, уж теперь я ни за что не кивну. К чертовой матери.

Я словно окаменел на своем месте. "Отойдите все, я окаменел", — сказал я. Я не хотел, чтобы меня зачеркивали, и не хотел говорить "да". К тому же сказать "да" было уже поздно — я пропустил какой-то миг, после которого стало уже поздно. Только в углах рта было обидно и горько.

И они отошли от меня. Меня как бы не стало в этом зале, ко мне все потеряли интерес.

Этого я не ожидал. Ведь мне было обидно и горько.

Э, да я уже не в зале, а на тех дорожках, что между входом и домом, среди тех чопорных черных фигур, которые двигались там так размеренно, независимо и ненужно. Как они берегли себя и свою независимость. И кожу на лице они не морщили в улыбку, и на все смотрели надменно и с полным и чуть презрительным пониманием.

И я бегом вбежал в переполненный зал, и, собрав все силы закричал: "Нет!"

Мне было так ясно это "нет", оно пришло как немедленное и безусловно доказанное открытие, хотя я еще и не мог бы сказать, почему — "нет". Моя уверенность и радость моего открытия покачнулась ко мне ближайших, но тот, на возвышении, улыбнулся и сказал:

— Прекрасный пример, дорогие друзья, голого выкрика, бессодержательной декламации. Это типичный пример демагогии, когда человек ради своих корыстных, грубо-эгоистических интересов старается привлечь на свою сторону наиболее податливых. О, такой путь действий мы знаем хорошо: эти типы убеждают сначала одного, потом другого, потом втроем четвертого. Они не брезгают ничем для своих целей: ни плотским влиянием, ни подхалимством (разумеется, тонким), ни спекуляцией на человеческой доброте (жалуются, что одиноки, что несчастны). Все это просто внушение, дорогие друзья, гипноз, телепатия. Им нужна не деятельность ради человека, а собственная удача, слава, власть. За счет человечества они хотят хорошенько пожить в отведенный им жизненный срок... Особенно часто, как вы знаете, это встречается в людях искусства. Ведь искусство тоже должно убеждать, но мы распознали этих людей, раскусили. Не скрою, кое-кто из них помог нам в этом, и мы пригрели таких...

Я уже не слушал его, не видел презрительных лиц окружающих. Он проговорился, я это знал, чувствовал и искал мучительно в его словах потерявшееся слово проговорки. Я знал, что если я найду это слово, то ему конец, он будет внутренне побежден. А он, пробормотав что-то насчет "отца и гнева", нахмурился и с ненавистью следил за мной. Рядом же с ним появились люди, которых боялся весь зал, и среди них был тот, который когда-то повалил меня.

Я улыбнулся спокойно - вот это слово. "Тоже".

- Также, - сказал я ему приветливо, зная, что теперь будет...

Комната огромна. Он лежал на диване, когда к нему вошел и встал рядом тот, из зала.

- Послушайте, - сказал он. - Хорошо, вы поняли, что такое я, ну и что? Ведь вам не понять никогда того, другого. Это раз. Второе - ваше понимание никому не нужно, так вы с ним и померете. Это два. Да и к чему все это вам говорить? Мы с вами недупные люди и отлично понимаем друг друга без слов. Ведь еще не поздно передумать. Нужно лишь сделать вид, что вы ничего не поняли такого, быть вежливым, внимательным. Лицом вам вполне послужит стол, которым вы будете угощать проходящих. И в мире и удовлетворении без боли вы прекрасно проживете.

- Как насчет тоже? - спросил он.

- Эх, ну зачем вы, ей-богу, - поморщился он. - Мы же вам будем, вы знаете, делать все большее и большее.

- Как все-таки насчет того, что тоже?

- Бросьте, это случайная оговорка, и вы бессильны, между прочим, в формулировании.

- А если я все-таки съезжу в это тоже? Ведь вы знаете, что я там найду много неприятного для вас. Окажется, я боюсь, что тоже совсем не тоже, а?

- Но вы же бессильны в формулировании.

- Кто знает! Попробуем...

2.

- Вы сделаете ошибку, - сказал вошедший. - Прежде всего, все ваши соображения безусловно будут неудачно сформулированы, во-вторых, даже если допустить, что вам удастся как-то рассказать о новом этапе вашего путешествия, ведь никому не будет интересен ваш рассказ. Для интересности нужен, прежде всего, острый сюжет, а у вас нет его. Я припас для вас парочку (для начала этого достаточно) - с их помощью вам удастся сделать свое повествование достаточно любопытным. Далее, прямое, очищенное слово, вы знаете, сковывает свободу ассоциаций, а потому совершенно не воздействует.

Наконец, последнее и, пожалуй, решающее доказательство бессмысленности вашей затеи: ваш рассказ останется безвестным. Все это я говорю, как вы понимаете, максимально доброжелательно. Иными словами, подразумевается, что ваше путешествие вы сможете продолжить, что вы сможете довести его до конца, а ведь это совсем сомнительное дело. Ведь вы-то знаете, что вы — извините меня — ничтожество, причем ко всему еще и смертное. Так — пустяк какой-то, временное ступение материи, вы знаете.

— Попробуем, — сказали с дивана.

... Тоже. Вот вы рисуете глаз: кружочек, точка, черточки. И вам надо убедить, что это не кружочек, не точка и не черточки, а глаз.

Убедить. Выйти перед всеми и убедить. А дальше?

За окном проехала машина, полосы света пронеслись по стене, по потолку. За первой машиной вторая, потом встречная, потом еще и еще.

А дальше кто-то обрадуется — ведь радостно, когда вас убеждают. И вы обрадуетесь, когда убедите. И если эту радость помножить сразу на бесконечность, то получится некое вполне экстатическое состояние, этакий ликующий вопль неслыханной силы. И какой соблазн убежденного, взволнованного и верящего чуть-чуть употребить, использовать себе на благо. Чем больше, тем лучше, конечно. Сделай то, поступи так — и если на благо убеждавшего, то вы понимаете, что получится?

Ну, а если ни на чье благо? Без цели, без заинтересованности, просто радость?

Как близок и прост оказался путь в этом "тоже". Даже совестно, что так шумно собирался, и вот он конец дороги. Как легко и просто.

Но что это? Почему тот, сидевший у постели, так удовлетворенно и ласково улыбнулся, встал и на цыпочках идет к двери? Множество вошло было к нему навстречу, но он приложил палец к губам, кивнул головой, и все они вышли? Что это?

Вот, собственно, и все путешествие внутри одной мысли, и, я надеюсь, вы ни на секунду не забывали, что в нем все выдуманно — от начала до конца.

ТЕННАДИЙ АЙГИ

СОН: ФОРМЫ АРПА

а вздрогнула
сна белизна - от движения
сил без названий и вида -

- а где-то росли и шумели
яблоко солнце и голубь -

а потом бесконечное утро
в поле без города и без лесов
горело фигурами внутренними -

сил - продолжавшихся
в свете дневном

1985

30

ТЕХНИКА
АНТЕН

И: СНИТСЯ ЛЕС

В.Сильвестрову

края его светлы
как слово Д е н ь в Завете

и скоро боль растает

/все ярче... вглубь.../

и медленно-боляще
огнем становится исчезновение

/...в прозрачности - как в "Г л а с е с О б л а к а"/

1971

ГОЛОД - 1946

А было это под Пасху...

А. Крученых

от го-олода-а:

умершие красивы
ли-ицами -

те жемчуга-а опасны:

светлее соли
да-а... -

- виски ли: так - от любви распухают? -

не сердцем - а взором
есть ли это?

иное ли чистое - т а м ? -

свобода ль иная? -

воздуха?.. -

ясного ль дня?

1966

ПЯТЬ МАТРИШЕК

/На рождение сына Андрея/

Что смотреть ходили вы в пустыню?
 трость ли, ветром колеблему?

Лука, 7, УП.

I

есмь

2

благодарение
 воздуху - чреву вторичному

3

идеей
 Ты нас окружаешь
 как шелком

4

во Времени мы - как в составе
 покрова
 Природы

5

Собой
 Окружи

СТИХИ С ПЕНИЕМ

Первый голос

просто облако есть просто дерево
просто поля и дома
/и все они тут как и ты/
и все они тут же как я

Второй голос

отъехал от дерева и навсегда удалился от леса
что-то взлетело в нем от реки
/птицы исчезли прозрачнее травы/
его уж все меньше -

и:

Хор

/Пение без слов, возрастающее постепенно/.

ТИШИНА

/Стихи для одновременного чтения
двух голосов/

- ма-а... -

/а в о с н е т е ж е с а м ы е
ж и в ы
г л а з а/

-а-ма

5 октября 1973

ЛЕС СТАРИННЫЙ

Δ - бог среди звуков
среди деревьев

поляна

⊙Δ в круге - старинная тьма
по образу леса

Δ̄ - единица Руси
белая в чаще
осина

56

ВОЛЫС

а вдоль порезов

кровь растертая:

то тихие пути

где пылью

смерть - стражем тайным - сообщается:

с полями тусклыми ее - вне нас

1967

М. К.

и женщина в которой:

просматриваются стеклянные пространства:

как чисто там и пусто:

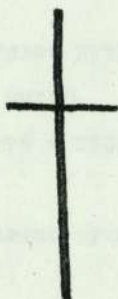
/как на странице:

здесь/

1968

ПОЛЕ СТАРИННОЕ

о Божий
в творении Облика из Ничего
зримо пробивший
и неумолкающий
Р А З



в образе Поля

1969

Олег Юрьев

ГОНОБОЕЛЬ И ПРОЧИЕ,
или
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

"...чтобы объединиться, мы...
должны решительно размежеваться."

Глава первая

С о и з в о л е н и е м в л а с т е й о т к р ы в а е т с я
С С П н е С С П . А б р а ш а Б а р а т ы н с к и й и
п р и ч и н ы е г о п о я в л е н и я в с е м з а в е -
д е н и и . Д о с а д н ы й и н ц и д е н т .

I

В тот вечер столько КГБ снегу на пути Витички Щенковского
наклало — просто ужас!

Вдобавок ещё кой-где водой набрызгали — и вот тебе, Витечка, на —
льдяные ловушки, в коих прощактся друг с другом бёдра, вздыхают
яйца в кальсонном гнездышке своём, дрожит под бараньим воротом
мыльная твоя, твёрдая твоя борода.

Экая погода дурная!

Тут мы погоду и Витечку кинем — на время — и обратимся к Степану
Баймухамет-Али-Оглы-Хану-Беку.

Степан Баймухамет-Али-Оглы-Хан-Бек двинул широкополую шляпу к
подщипанным усам своим и поглядел сквозь дырочку в тулье на от-
ражаемый тёмною витриной силуэт.

"Эхма, похож! — громко подумал Степан. — Есть что-то этакое, есть
же... Эти глаза, этот нос, эти усы.. похож, как вылитый, пропади
я пропадом!" Так он подумал, и ещё плотнее окружил низ головы во-
ротником модного пальта, и кудряво пошёл куда-то вон.

Прощай, Степан, ты понадобишься ещё, хоть и не скоро.

А вот два сотрудника — Большаков и Меньшаков, нервно выпрастываю-
щие хорошие простые лица из холуйских холёных парикмахерских рук, —
пора на пост, в комнатку, сплошь увешанную телевизорами, — ибо
фрейнер из сто тринадцатого снял тёлку и ведёт её в номер к себе,
тврить! а тёлка эта не просто лялька, а тоже товарищ, и операцию
надо контролировать; "Эк он её," — внешне спокойно скажет Больша-

ков, разминая беломорину, а Меньшаков, вращая тумблер регулировки: "Да-а, впиндюрил по самое то..." - нам вовсе не надобны и в дальнейшем фигурировать изложении не станут.

Да кто ж нам нужен-то?!

В наших ли видах такие персонажи, как барашковый человек Абраша Баратынский, критики Пыпины-Короткие, поэт Пуся, половечкая баба Лика, знаменитейшая своею конспиративной квартиркою?

Интересен ли нам жидкий интерьер квартирки этой самой, куда, как известно, Витичка Шенковский ходит декламировать произведения, строго так усмехаясь бабушке на прощанье: "Эх, бабуся, чувствуете ль? я уж-таки начинаю входить туда!" - "Куда, Витичка?" - "Куда-куда?! в миф вхожу, мифологизируюсь!" - и выходит вон, и стёганые бабушкины руки застёгивают на звенящие крючки и цепочки просторную дверь.

Необходимо ли соотнесение действия с нежным, клябщимся городом, подсвистывающим в жестяные трубы, заматывающим крупчатой темнотой трупы своих гигантов архитектуры и своих памятников промышленности, шевелящим свои промасленные обрывки?

Не говоря уже и так далее.

Наконец, стоит ли продолжать начатое или же само собой понятно, что "извини, - хорошо по-русски сказал иностранец Виолончелли, - подвинься." "Вот он, ключ," - поняла миловидная Даша и сжала в сухой ладони болтавшийся между сисёк странно холодный золотой крестик.

Где-то далеко простучала пищащая машинка, и строгие люди, вперившиеся в её полную плохих зубов пасть, прочли, чувствуя подмышкой прохладные уголки пистолетов: "Операция"х" начата; испытываю отвлечение. Катя."

Господи! Нужно ли всё это, всё это окружающее, гулко фونهاщее, фурнитура сущего, в данный момент как никогда заснеженная, и Витичка Шенковский, обложив мехом живот, шагает в литгости; шагает почти по-прусски, но постоянно подворачиваясь сам под себя; и если посмотреть вокруг, то сверкающая кровь деревьев - недвижна.

Нету для писателя, особенно писателя русского, предмету более тягостного и одновременно притягательного, нежели хорошо знакомый и почти любимый литераторский быт.

И ведь каким бы себя авангардистом ни числил писатель земли русской, крепчайше, на деле, привязан он к блаженной памяти натуральной школе: к подробностям и частностям, приметам и характеристическим чертам, к засасыванию действительности бездонными страницами своими.

Не умеем мы не опираться на знание окружающего, а оно, окружающее это, узко, и вёртится, и в стремительном и бежном этом круге мы растерянно хватаемся за собственные душевные движенья, телесные побужденья, умственные поползновенья; пластмассовые лица родственников и знакомых наших тенями показываем на китайских стенках коммнаток наших...

Вряд ли плохо это, а плохо, ой, плохо, что на самом-то деле тянет нас к большим общественным словам, к людям простым и великим, к местам отдалённым, полудиким.

Хочется занести в тетрадочку весь высокий гул копошенья народов наших в снежных клетях востока; всё волшебство удержанья вечно-текущего вещества, волшебство, подчинённое жёлтым, негнушимся, червивым пальцам, брезгливо тыкающим в полудикие лица станков; всю тягостную радость крестьянина, отворотившегося от неповоротливой почвы, не умеющего говорить с землёю своей, со своей лошадьё и коровой, да и с соотечественниками, соответственно.

Таковы же и мы, мы, приученные к мнимой отдалённости ото всего окружающего, огромного, вертящегося; разучившиеся говорить, убеждённые в незнании того, чего и знать-то не надо; и берущиеся за знакомое — в скудной своей правдивости.

Дело-то не в том, что наших сочинений не прочтут, а коли прочтут, не примут недоверчивые души и доверченные мозги бессчётных сантехников, грузчиков, коровниц и швей, милиционеров, воров, шофёров, профессоров, проблядей и прочая, прочая...

А просто создаваемое нами вещество плохо, ой, плохо встроено в вещество общее, создаваемое всеми, простой и великий воздух отдалённой, полудикой страны нашей.

А что до литературного быта, так ничем он прочих не хуже; и с Богом, пошлёпали; н-но, проклятая! а-берегись!

Далее.

В мемориальной квартире не то Глеба Успенского, не то Всеволода

Гаршина вдруг разместился Союз Советских Писателей, не вошедших в Союз Советских Писателей (сокращённо- ССПнеССП), и нынче праздновалось его зачатие. Желавшие поучаствовать, сопя, ползли на карачках сквозь туннель в мемориальном сугробе, монументальности своей напрочь задавившем деревянненькое обиталище покойника Надсона.

Туннель был проделан инициативной группой ССПнеССП, и сам Прохор Самуилович сунул в сугроб садовую лопатку, приобретённую по подписке.

А там, в конце туннеля, сияло и дымилось фойе, где мерно дышали в записные книжки критики Пыпины-Короткие и шнырлял поэт Пуся; где мемориальный швейцар в штатском улыбался, сцепив руки на четвёртой пуговице;

где Витичка Щенковский озирался;

и где половчанка Лика ревниво трогала маникюрном белый бюст бедного, голодного, но весёлого Горького.

Словом, были все, ну прямо-таки все.

Тут как раз образовался скандал - это вскинулся Пуся, медленный визг его повис под червивыми балками дома Скитальца.

"Кого мы видим, ятить-колотить!? Никак Мишечки Гонобобли, бля? Значитца, явились? А уж мы-то, беднъяжечки, так заждались, так заждались... Где это, говорим, наши Мишечки, в бога душу?.."

Пыпины-Короткие окружили гневливца, взявшись гладить его по рукам и сочувственно гудеть.

"Это что же такое, господа-бля-писатели, деется?"

Значитца, покуда мы тут двадцать сучьих годочков недоедали-недосыпали, литературу писали, в котельных гнили, - (Пуся присел на бегу и стукнул себя в середину соплиного цвета свитера), - этот самый экскремент кошкин под папиным профессорским столом, в родину-мать, путешествовал, а тепереча, Ленин в ссылке, они, видите ль, тоже ССПнеССП?

Не до-пу-цу!!!"

Полувывлезший из сугробного зева предмет Пусиной энциклики замер в таком половинчатом положении и растерянно округлил морозные очки, оживляя свою полуперсоной полупокинутый сугроб, явственно теперь напоминавший стороннему в профиль наблюдателю (кабы такой наблюдатель нашёлся) а он нашёлся, да и не один)) этакого альбиносного бронтозавра, зачем-то натянувшего на маленький череп

лыжный шлем с пунпоном.

И даже, соответствуя картинкам из естественной истории, бронтозавр обладал хвостом — егозливыми брjками замыкающего сугробо-проходца. "Ой," — сказал Гонобобль (бросим-ка лучше сравнение, ну его к Богу, уж такое вышло громоздкое... сил прямо нет...), пытаюсь глядеть в два небольших просвета, образованных шарообразными плечами Пуси и его не менее шарообразной головою.

А там, там, за Пусей: последние частные издатели, последние литературные беспризорники, последние читатели собственных произведений, коих созвала сюда изумлённая власть, дабы понять, наконец: нельзя ль и их прирастить к великому процессу срастания мозгов, в каком много уж лет принимают сравнительно успешное участие их одомашненные собратья. — толпились.

Блистала резная обшивка стен, добро глядели вдаль бородастые портреты, курились папироски.

"Пуся! Ну Пуся! Вы чего? Мы ж это... милости просим... и так далее, — косясь, шептал Прохор Самуилович, человек, поголовно окружённый бородой, — оно ж... это... поросль, если угодно... и так далее, понимаешь..." — "Товно оно, а не поросль!" — рывкнул Пуся, обернулся, явив застывшему грешнику (грешников желудок горячо дрогнул) объёмную омегу клетчатой задницы своей; взмахнул обеими руками и пал в толпу.

Два-три Пыпина-Коротких заслонили дверной проём, только что успешно обороненный одним-единственным бойцом.

Тут же поперёк фойе установилась перегородка, слепленная из новенького холода.

Перегородка эта шла от придверных критиков и упиралась в Шенковского, подставившего портфельчик.

Ах, лучше б тому Витичке не подставлять портфельчик, а сей же час преобразиться в какое ни на есть распарапанное изображение уже пережившего все бури Степняка-Кравчинского, например, или Сергеева-Ценского, что ли...

Но нет! поздно! Поздно преобразаться, ибо Пуся уж воздвигся на принесённую из дому скамеечку и повторил свою гонобоблику, но при сём витой его взор неумолимо выкручивал белую стружку из дырочки в несчастном Шенковском.

Страшно улыбнувшись, последний выпрямился и чеканно покрался к выходу, но — Царь Небесный — оказался одним прыжком достигнут и

звучно шлёпнут по плечу.

"Ты это чего? Ты это, парень, брось! Ты это парень свой и хорошей молодёжи мы завсегда рады! Верно это я, ребяташки, толкую!" — загудел в витичкином затылке старушечий бас.

Вот это уж было совсем невыносимо, и Витичка совсем не вынес: обернувшись весь, помимо профиля, он надул щёки, и, неловко двинув локтём, стукнул обидчика в белокурый нос.

Противников окружили присутствующие и завистливо улыбнулись; противников разделила морозная стенка; и в этой естественной помеси ринга с волейбольным полем бой принял приличный характер не слишком ближнего, но и не слишком дальнего.

Мемориальный швейцар зевнул, не разжимая рта, отчего глаза его сузились, отогнал от выхода длинношеих Пыпиных-Коротких, и, клубясь, шагнул во двор.

Из-под белого панциря блестящие черепаховые глаза Гонобобля.

Швейцар сунул голову в лаз, с каковой целью сложился прямым углом и ответно блеснул во тьме двумя влажными дырочками в сырном круге. Жутко это смотрелось, и Гонобобль, испугавшись швейцарской головы, зажмурился и рванулся мокрыми коленками назад, в простую русскую ночь, бегущую на месте домотканых сугробов куда только глядят её бесщёчные глаза.

Ловко уклонившись от прыгнувшей в лицо снежной соли, страж ворот разогнулся, заложил руки за спину, и чрез мгновение щёлкнул затвор двери музея уж не Добро-ли-любова? — где всех только что помирил отвлечённый шумом схватки от прикнопливанья к различным деревянным частям ("Ой!" — вскрикнула бедная Лика) фотопортретов Соломона Мудрика Соломон Мудрик. "Мальчики, мальчики, фу, не надо, не надо, это же дурно.. — сказал Мудрик, взявшись за Витичкину лопатку. — Вот вы тут дерётесь, а всё как раз и начнётся — без вас, драчуны вы такие!"

Ну, Витич! Ну, Пусик! Ну вот нате-ка кофейку на брудершафт горяченького — тут и термосик здесь..."

"Глупое это занятие — кофе пить," — мрачно сказал В.Шенковский, но пластмассовую чашу мира принял.

Ладно уж.

Пусть их.

У них всё будет хорошо, и все они подружатся, а мы, мы, верные зову униженных и оскорбленных, оскорбленных и униженных, пустимся

вослед за теми тремя, что выползли из сугробного зада, и вот уже Миша Гонобобль и его обставленная тулупом жена пропихиваются в таксомотор, скрипящий и оседающий под ними, а Абраша Баратынский туда же, а Миша ему, что не по пути, а Абраша, что по пути, и влезает, и дверца чавкает, и машина, повизгивая и вроде как неодновременно крутя колёсами, трогается.

И вот, когда вполне заполнилась свежими снежными полосами плетёная её лыжня, из форточки ССПнеССП тесной очередью, как по ветру бельё на верёвке, вылетели четыре небольших привидения и очень скоро растаяли в осповатых небесах. От окон музея падал жёлтый блеск и неразборчивые слова, но светлы были, не светясь, белые накидки всего.

4

Питер — смешной такой город. — цокают о кованный воздух ночные пегасики (большой частью кобыльего полу), а мы думаем: дождь... В коньки крыш, в пуделячью кудель деревьев, в лошадиную красу спящих гнусавиц, в первый и последний автобус, поднимающий у поворота заднюю ногу, — во всё, во всё вжимаются волны от отчаянно машущих маленьких крыльев.

Воздушные зёрна падают на асфальт, застревают в форточных марлях, подпрыгивают на полях одиноких ночных шляп, и бог весть, где они встретят просто землю — укрыта она вся целлофаном ледяным.

А мы думаем: снег...

Тычутся в стёкла их ноздреватые лица, терпеливо их игогоканье, топорчатся их седые гривки...

И блаженна участь котовладельца, не позабывшего на ночь очистить дорогу предприимчивости своего маленького друга, — этой-то вот дорогой в разобранную на чёрные детали квартиру вкрадываются пенные летучие лошадки.

А мы думаем: дождь...

А мы спим, как камни дрожа, только и остаётся, что крыльями развесть. А как бы славно было, и понятно было, и справедливо было, кабы дар Божий даровался б человекам не иначе как по степени блудливости ихних котофеев, да и зверей сих обездоленных стало б незаметно меньше...

А мы спим...

Тому назад года три, когда Абраша Баратынский потерял свою бабушку на жирно заросшем Преображенском кладбище, он, являясь толстоватым человеком с тонковатым голосом и очутившись наедине с невыносимо антикварною библиотекой, того не вынес и принялся её читать.

Булькали соседи за стенкой, бился в коридоре пищеварительный запах, а Абраша в синем своём, круглом своём комбинезончике походя на летучего шведа, неспешно переворачивал и обдительно переворачивал огромные эти горчишники ладошью-растопыркой, а обложки завитушками влагались в ладонь, как мебель, а печь бубнила и из голландского своего сопла всё порывалась вырваться.

Впрочем, это известно.

Что ж, тогда просто-напросто питатоем станем мы сие считать, просто-напросто кавычками объявим мы тогда границы абрашиного бытия, ну, а Абраше-то с того что?

Абраша-то не писатель был; "Куда мне... - полагал Абраша. - Сочинители, они такие, такие, ну, прямо и не высказать, какие..." - оттого и не расстраивался насчёт, не раздваивался между, не подпрыгивал до от реминесцентности микроструктур макрокосма, то есть наоборот, и так далее, а напротив тому, вполне получал удовольствие, паучиной своей ладонью с содроганьем вслушиваясь в звук и отзвук, зов и отзыв эт цетера.

"О, о, они, они, те, кому так расстараться пришлось нас попотчевать; милые, добрые Монтени и Лафонтени, Горации и Конфуции, Шиллеры и Миллеры, все Толстые, наконец, как один человек; как же трудно и хлопотно выходит писать, коли и читать-то вот так непросто, а вот написали, вывели кровию сердца и мозга волшебные эти буквы-цифирки..." - примерно вот такими благодарная абрашина душа заполнялась восторгами.

"Мерси за полученные удовольствия," - говорила она, казалось, из Абрашиного тела летя к настольному Гоголю, что всею своей в свою очередь летящей форвертс личностью как бы репрезентовал Абраше всё это великолепное это сословье - писательскую братью.

"Ух! - с нежностью думал Баратынский. - Гениальненький какой!" Гоголь двигал носом и дупал глазами себе вниз, где в бархатную коробку вплани-ро-вы-ва-ли (уф, насилу высказал) засушенные цветики или же серебряные конфетные исподние, выпархивавшие, прилепётывая, из разворотов.

Раз! — из ворот Красоты и Разума, ничего уже не знача ни для кого живого, поторапливаются в бархатный короб бедные мёртвые значки. За спиной сам по себе мчится вентилятор, передёргивает, передёргивает плечиками герань. Но поскольку бесконечно конечны явления в однообразной разнообразности сообразностей, то, конечно, минуло три года и — "Неужто ж это последний вольём?" — взмыслил Баратынский.

"Неужто ж в публичную библиотеку идти?" — взмыслил Баратынский и потрогал себе тело.

"Поди, конь, подмойся," — с вполне коммунальной прямоотой заметил из-за стенки учёный ворон на правах кошки.

"Нет, не пойду, — взмыслил Баратынский, — вот прочту сей же миг фольянтик этот и — а ну, давай наперёд сзад — с Ясперса — ну, и по самую Аверченку."

Ворон загромыхал крыльями, отворил воду в сортире, где жил, и, тяжело дыша, втёрся.

И сел Гоголю на бюст.

"Шёл бы мышей ловил," — посоветовал Баратынский, обращаясь к манускрипту.

Птичек откровенно смеялся.

Гоголю как-то не каркалось.

Абраша же расторг толстыми своими пальцами застёжки, отворил книгу и...

Первая страница, вторая, вот и третья выкатилась: право же, пора бы и прочесться чему-нибудь, а всё чего-то не видать ничего, зкая же гадость! Листы — вот, пожалуйста, — по верху обнумерованы; да так ещё щайрки втиснуты крепко в жёлтую глубокою бумагу; такую эти нумерочки геральдикой обросли развесистой, что аж до слёз досадно.

"Гар-ритет!" — взмыслил Баратынский и принялся перебирать коварную — хоть страничку выискать, хоть про что, хоть автор какой, кто кого хоть...

"Во дурак!" — изумился ворон и набекренился.

Под ним Гоголь накренился, прицелясь в фигуристую лампу.

Надкlynутая лампа произвела полную тьму, после чего вхрустнула в уже осыпавшиеся на стол стёклушки.

Ворон осуществлял маханье, сопровождаемое фарфоровым плеском.

"Сволочь, какая сволочь!" — шептал Баратынский, жмурясь нащупы-

вавший верхний свет.

Ужасно, как говаривала одна барышня.

На моём месте кто другой так долго б ещё расписывал преследование преступного животного, равнодушно перетаскивавшегося со шкапа на шкаф; шмыгание над бесчисленными па́стушками, выметание Гоголя... — ан, соврал, каюсь, соврал — перед выметанием Гоголя ведь надобно б лампы осколки прибрать, а тут...

А тут как раз и происходит то самое, к чему я в качестве не кого другого моментально и перейду: на ещё более пожелтевшем и кой-где проугленном листе — ах, это и так понятно! — Абраша с бронзовым совком у грудей узрив бледно-коричневую надпись, завитую старорежимною дамской рукой. Опускаю изъясленья ошеломленья, бесполезные проверки прочих страниц, мерзкие вороновы комментарии и всё тому подобное и в том же, если помните, качестве, мгновенно перехожу к основному: ".Ип.граф.. (тут прожжено) подва. (прожжено и тут). ождественская, дом ..р...ва" — вот что было начертано, извольте видеть.

Но Рождественских-то, а по-нынешнему-то Советских-то, целых девять-то штук! А дом? Каков, ну, скажите, его номер?! И сохранна ль типография — много было всего с тех пор, как Абрашина Бабушка, воротясь из Льежа, сделала в пятом году револкшиику...

Недометённый севр хрустел под Абрашиной пятой, ворон выбирал Гоголя из кучи и прикладывал друг к другу.

"А чего это я прыгаю? — взмыслил Баратынский. — Я-то не писатель есть, мне-то всё это как-то..."

И в коридоре зазвенел его голос: "Пашу Сушкина можно? Сушкина, я говорю. Паша? Это я, Абраша. Тебе типография не нужна? Нисколько. Даром, говорю. Только её надо ещё найти. Не нужна? А чего же спрашиваешь? А не знаешь, кому нужна? Может, другому какому писателю, кого так не печатают? Как-как? Завтра? Кого-кого? Какого Гарина-Михайловского?....."

Глава вторая

А браша Баратынский, подружившись с Мишей и Светой Гонобобль, вступает с ними в кооперацию

Деревья, наскучив профилированием, сунули в третье измеренье лакированные свои коготки — се замолкла зима.

Вода же, напротив, того измеренья лишилась — и не снежный шар валится, валится, чтоб полурасплющиться, а, откуда ни глянь, ты у дождя в углу.

По истеченьи четыре первых ласточки появились высказать свой маленький диттонг.

Ну и высказали.

Все жители уехали на природу имени Кирова, отчего их на улицах стало куда как многочисленней.

Да и взаправду ж подумать: что ж быть может приятней на свете, нежели прохаживанье по родному городу, когда всё вокруг так красивенько. Вот взять, к примеру, Неву — редкая птица долетит до середины Невы. А predisполкома в каске с пташечкой, ступающий верхамми к каменной чернильнице о пяти головах!

А медный всадник, железной рукою сжимающий поводья!..

А тут, кстати, моя супруга предположила, что все памятники Пушкину на самом-то деле слеплены с брата Пушкина — Льва Сергеевича Пушкина или с сына его — Александра Александровича Блока — за что ей, супруге моей, хвала и честь!

А у меня, например, есть подозренье такое, что эти все хорошие вещи — вода, свет, огонь, древесина, мясо — неудачным и мгновенным своим сочетаньем наскучив, собирают уж пожитки, да и разбегаться по домам — о, как же мы все тут остонадоели другу друг. О, как же жаждут они перервать, наконец, противоестественный свой союз, возвратиться в исходное и позабыть эту глупую...

Что совершенно не исключает необходимости ни за кого не голосующей этой повести, всё назначенье коей — пред расставаньем уллобнуться и без раздраженья уйти.

"Все стихотворцы, брат Баратынский, — говорил Гонобобль огибающему лужу Абраше, — делятся на два основополагающих класса —

которые ноют и которые лают. Прохор, вот, Самуилович, — тот ноет, как если зуб болит. А сам глядит так искося... или когда врёт чего...

А Стёпка уставится в пол и гавкает медленно этак, что пудель бритый...

Всё! Не здесь, так нигде!"

Абраша прогарцевал по поребрику и возбуждённо взгляделся в записную гонобоблеву книжку.

"Ошибки быть не может?" — спросил Абраша строго и перемялся в едва обогнутой луже.

"Да ты что?! — загорячился Гонобобль, поднося книжку к очкам. — На Первой такого нет. Вторая, Третья и Пятая, да и Седьмая тоже, — отпадают — я всю библиотеку прочёл. На остальных мы были. Вот, последний, как, если так можно выразиться, говорится, шанс — купец Ерофеев — первой гильдии — сочувственник!"

Абраша вынул из-под мышки форму и потрогал её толстый рыжий замок. Разнёсся высокий, неожиданно мелодический звук.

В общежитии второй автоколонны ухнуло окно, что побудило приятелей взять независимый вид — Гонобобль утирал очки, а Абраша помахивал инструментом, как жарко.

"Кто ж так взламывает, в кисту?! Её же нежненько надо, нежненько! как кисту! Понял, садовая голова?!"

"Мы из Ленгаза," — возразил Гонобобль, утирая очки.

"Ты на меня батон не кроши! Я простой советский парень! Развели евреев, — всячку формкой не сдёрнуть!" — нервно сказала липо и задёрнуло занавеску.

"Влипли!" — утирая дрожащей рукою очки, сказал Гонобобль.

Тут, как бы в подтверждение, то же лицо, но уже с ногами, появился в подъезде напротив. Подтягивая шальвары и шёлкя́я сандалетами, мужик обежал лужу и злобно выдернул из Абраши чудное орудье. Баратынский шепнул: "Пожалуйста", спрятался за Гонобобля и стал развешиваться, как плащ.

"Ты её веди, в кисту, веди!..."

Замок с дребезгом скользнул по фомке и упал на асфальт.

Двери растворились с тихим "Боже, царя храни".

Мужик кинул Гонобоблю инструмент со звоном под ноги и через миг оказался восвоясях.

"Вот она, Русь! Бек закрыто стояло, век открыто будет!" — нраво-

учительно утирая очки, молвил Гонобобль и попробовал ступнёю тьму, как воду. Ну и упал, конечно.

...Когда Абраша с Гонобоблем через плечо отнял палец от сиреновой пупочки звонка, Света Гонобобль ухватилась за косяк.

"Ничего-ничего, Светлана Валентиновна! Жив, жив, как Бог свят! - смущённо сказал ей Абраша, вытирая подошвы о вязаный портрет Белинского. - А дальше куда?.."

"Нет-нет, там неубрано, в дальнюю..." - крикнула Света, садясь на пол большими ногами.

"Старуха, мы нашли её, старуха!" - воскликнул Гонобобль и снова ткнулся в Абрашину поясницу.

Покачивающийся и восково светлый его затылочек казался непристойен, как некая третья, ужасающая ягодица.

3

Ночь. Три призрака, цветом, как луна, но прозрачней, - на телеграфном проводе. Призрак Марина, круглая, с чёлочкой, курит призрак папирсы за призраком папирсы. Призрак дыма надоедает призраку Боре, вследствие чего последний отдувается губой. Призрак Аня сидит выпрямившись.. Из тьмы близлежащего сада выпархивает призрак Ося, заворачивает вираж, но промахивается и пропаархивает призрака Аню насквозь. Та, полузакрыв белые веки, невозмутима. Призрак Ося выходит из пике и сконфуженно присаживается.

После непродолжительного молчанья.

Ося. Да-с, товарищи, опять, извольте видеть, совершенное фиаско!

И чего я только не творил, чтобы Пусю этого отдохновить - и витал над ним, и в снах ему казался, и голосом неземным пел... - и ни-че-го! Навалял-таки, негодяй, "Оду русскому народу про свободу", двести строк, и все четырёхстопным, неприятность какая, ямбом...

Аня. Четырёхстопный ямб мне надоел...

Ося. И мне надоел ужасно! Им как только не надоест? Вот...

Марина. А я вот, господа, думаю, что у них там внутри машинка такая установлена, для стихов. Машинка работает, стих сам собой и пишется. А против машинки, сами знаете, ничего не попишешь (выдыхает призрак облачка), а потому, пожалуйста,

не расстраивайтесь (вдыхает призрак огонька), мой дорогой.

Боря. (чуть капризным голосом). Кому, знаете, хорошо, так это Коле с беллетристики — сиди себе спокойно — что где ни спял, на твой счёт всё...

Аня. Жжёная бумага воняет.

После непродолжительного молчания.

Боря. Да и вообще у них там лучше гораздо. Один раз уговоришь насчёт какой-нибудь... эпопеи... и всё! — пока там ещё новую сообразит. А тут... (безнадёжно взмахивает призраком руки)... .. Вот этот, как его... востроносенький такой, четверостишья ещё сочиняет, нравоучительные, — штук в день по сто... его ж от одного оттащишь — аппетит нагонишь или там девочку в окно покажешь, — ведь прямо тут же за новое примется — про ту же самую девочку или, скажем, про тот же самый аппетит... И ведь каждое, извините, в произведениях числится... А виноват кто? — Ты виноват... Не доглядел, допустил... — ну, можно, я вас спрашиваю, так работать?..

После непродолжительного молчания.

Ося. А я тут над одним витал, витал...

После непродолжительного молчания.

Марина. Я думаю, мы погибли. Ч-чёрт...

Аня. Тыфу-тыфу, Мариночка, что это вы; ещё накликаете, пожалуй. Сами ж знаете, диавол — есть выдумка невежественной черни, а всё ж по всем правилам — его выход.

После непродолжительного молчания.

Боря. Что ж, пора... Мне ещё сегодня тут одного, этого... фу, опять позабыл, — от трёх элегий отвадить — он их во время программы "Время" строчит всё время — я ему на это время телефонирую: мол, я Соня, вы меня не знаете, но я-то вас знаю... — авось и выйдет чего...

Боря улетает, раскланиваясь. За ним Марина, размахисто.

После непродолжительного молчания.

Аня. Вот ведь... москвичи... Ну погибли... что ж такого...
бывает... Осип Эмилевич, компании не составите - мне бы
ещё к девушке одной?..

Они взлетают. Голоса их постепенно теряются среди деревянных
деревьев, стоящих, как всегда, на голове.

Ося (удивлённо). Понимаете, я над ним витаю, витаю...

Аня. А он что?

Ося (удивлённо). А он - ничего... (смеётся).

4

Царская осень вошла в Пушкин, и мы туда ж въехали, с противоположной стороны.

Деревья уж вывернулись из своих известного колера крон и куда-то все подевались; но их на благородном слове держащиеся оболочки пошевеливались и пока не падали.

Я убеждён, что вы, собственно, и не видали, как листья падают; - они вовсе и не падают, а просто (не у вас, разумеется, на глазах) миглом рассыпаются и усыпают; на месте ж воздушного домика - голый воздух, - и когда вернётся ещё сюда ствол.

Знают о том лишь только очень хорошие садовники.

Погляди, сказала жена, - утка. Ну и что ж, сказал я, обычная двухголовая утка. Однако же, не в образец клювам геральдическим, её - совершенно милы друг с другом, так? Как мы с тобой, сказала жена. Да, как мы с тобой.

Подле известного и знаменитого памятника Пушкину молодой человек полулежал на клетчатой скамье - нога за ногу, положивши на скамейкину спинку руку. Ах, как похоже, сказали мы, жаль, что никого нет с нами, мы б ему показали.

Мы шли, словно медленно танцевали русского (я вкладывал в кепку большие полированные жёлуди - их было премного, будто б возмещалась серьёзная недохватка в дубах, - а может быть, и всегда их столько, а?)

Зачем у Миши сломалась нога, спросила жена, и так ведь его никто не любит.

Гляди, показал я на инвалидное кресло, которое, приподнявши смелое своё лицо, толкала большая-большая женщина.

Гляди, показал я, она его любит. А Баратынский, кусающий котлету в комплексной столовой "Свобода", любит её. Да, собственно, какая разница?

Детки, разведя коленки, собирали метёлки — какие хозяйственные; мамки и папки им свистели — какие добрые; куда-то отсюда пропали все белки — очевидно, их съели. Почему бы нам не поговорить о незнакомых — они, по сути, всех ближе, — они, именно, будут нас убивать. Я сел на корточки и посадил дубовую рощу.

Но как верно — шляпками вниз или попками вверх? — пришлось пополам; уж и не знаю, выйдет ли что.

Ты думаешь, эта почва добрая, спросила жена. Я ответил, а как мне ещё с этими жёлудями быть.

Брось-ка ты пока это, крикнул внутренний голос необычайно молодо-во и улетел в самую подложечку небес.

Тогда я поднял верхнюю челюсть своего чемодана, где внутри, на расставленных ножках, с напряжённой головогрудью, стоял маленький ворон.

Ворон сморкнул клюв о плечо и глухо гаркнул: "Никарида!"

И мы направились обратно.....

Глава третья

Предприятие компаньонов увенчивается успехом, но — конфуз!.. При попытке избавиться от злокозненной печати супруги Гонобобль задержаны соответствующими органами, но прощены, но отпущены...

I

Итак, сегодняшнее солнце соскользнуло с края земного, и Господь задумался, тратить ли на нас следующее, сияющее в его ладони.

Меж тем гипсовый валенок Гонобобля белел в наставшей тьме ужасно, как первая ветвь зимы.

Миша, спелёнутый жениным тулупом, смотрел на свою ногу философски и думал: "Что ж... И ведь, в своём роде, тоже светило... Охо-хо-хо..."

Наскучив сим, ухватил он себя за колёса и подкатил к дверному проёму, вытемнявшемуся во тьме.

"Ой вы, чего там, а?! Чего так долго?!"

"А мы тут целуемся," — отозвался Светланин смешок, и сразу Абраша: "Михаил Витальевич, не слушайте, мы со Светланой Валентиновной не целуемся!"

Света сделала фонариком в курчавое Абрашино лицо, пожала плечом и прошептала: "Слезайте же скорее, а то я наступлю вам на нос".

"Ой, здесь вода!" — заметил Абраша и, плескнув, поднялся на ступень выше.

"Михаил, здесь вода," — пересказала Света и тоже на ступень поднялась, оказавшись гладкой головой на уровне гонобобльского гипса.

"Пусть нырнёт!" — сказал Гонобобль, кусая себе зуб.

"Абрам, хотите нырнуть?"

"Светлана Валентиновна, я боюсь," — сказал Баратынский и прижался щекою к расшитому бисером Светиному сапожку.

"Михаил, он боится," — сообщила Света, шевеля пальцами в сапожке.

"Ну, нырни ты," — отнёсся к ней Гонобобль и катнулся в своём кресле.

"Я не могу, у меня месячные," — сказала Света.

"Абрам, слышите, у неё месячные?" — фонарик слепил. Баратынский,

держась за поручни, почувствовал всю тёмную и тёплую изнанку своего тела. — Внутри у нас ведь пусто — кишки, лёгкие, печёнки — всё ведь это сказанья досужих медикусов; — лишь сердце ходит по всей полости на резинке, привязано под ложечкой. Темно в нашем теле, пусто... лишь кровь — изморозью на изнанке... Здравствуй, зима, сон восковых стёкол.

Люди спят за ними в океанах своих постелей; женские кожи распялены на волнистых хребетках. — знаешь ли ты, Баратынский, это? Все спят. — Спит продолговатая голова Шенковского, на невзрачных зрачках её напечатаны все обиды; спит и Прохор Самуилович, снясь себе сам: подозрительно рассказывающим, как в девятом году символист Константин Евреев посылал за себя на поэтические вечера попугая. Завистники вскоре удушили попугая. — Прохор Самуилович по-детски улыбается во сне; спит постовой на посту, и жопалый на ходу; дремлет светлая башка архитектора Стасова на длинном пьедестале (напильник, вкопанный рукоятью вверх), сплю и я, грешный, а моя машинка сама по себе перебирает блестящими долгими ножками и взмахивает, взмахивает одним-единственным крылом.

Спит всё, весь этот город, что населил баснословными зверьми, деревьями и памятниками — знаешь ли ты, как он спит, толстый, попукивая?..

Знаешь ли ты, что не страшно идти, выворачиваясь, как при косьбе, из живота, и не чувствовать себя по пуп; не страшно присесть, весь в тесных рёбрах, и отбить кадык о невидимую воду; не страшно волочить эти запаянные ящики-субмарины и вытеснять их наверх — один за одним, не страшно, а лишь, Бог видит, скушно, очень... да... Ну так что ж с того?..

Расплетающийся свет, верней худой и холодный его колокол, надет на тебя целиком, а ты — языком его; пора, брат Баратынский, пора; хватай давай яйца свои бедные, как футболист, и ура, вперёд, вниз то есть, конечно, вниз. — Видишь? Вот волны молча расступаются перед тобой.

Бывает так: или дитя соседское зарыдает, что форменный кот, или телефон возьмётся вздрагивать своею звенящею шапочкой, или на-сморг (свейское слово), или чего ещё, — и всё, и ничего ведь уж

не попишешь.

Только вложишь нечёткое лицо в ладонь и сядешь, качаясь и произнося про себя: "Сволочь. Сволочь. Какая сволочь."

За окошком на многих носгах ёлок налипли козявки льдяные, подбаба встала, что белогвардеец; топочет породистым сапогом.

Город есть убийство снега...

Мой дом окружает всё важное — деревья, звери, памятники; в дому сижу я и раскладываю да складываю словечки — ответственное очень дело. Слова падают и застывают, являя грани — с — глубоко врезанными значками, а прочим игрокам, а из-за плеч смотрящим всё кажется: перекатываются, перекатываются и не могут никак устояться; и игроки, сощурия, гладят в карманах стриженные косточки, лежащиеся всегда на один бок; и заспинники с бескорыстной нетерпеливостью толпятся, дабы воскликнуть: "чёка", или "голь", или "с пудом", или "перебить". Серьёзно! — бывает, что я думаю: а вдруг и в самом деле пишут затем, чтоб читать; тогда что ж? Ведь ничего прочесть не смогут, ибо с утерей общего понятия о том, как вести себя должно, у наших соотечественников, соответственно, исчезло и представление, что в каких случаях сказать положено; и сколько уж лет и устно и письменно они изъясняются лишь с помощью жестов да междометий; твёрдый знак пропал из нашей речи. Что ж делать мне, чей слог — в знаньи правил и в уменьи их нарушать; для кого и для чего, помимо собственного своего удовольствия, испытываю я терпенье соседей и кашлем, и жилистым дымом, и пишущим вздрагиванием машинки; зачем казнюсь за неисполненье того, чего вкус общественный, коли о таковом возможно без смеху сказать, не только что не велит исполнять, — это было б отлично! — а просто-напросто и вовсе не знает.

Неужели же всё для того лишь, чтоб когда-нибудь, в невероятный миг высвистнуть из машинки лист, чувствуя улыбку подбородком, взять карандаш, и непрозрачным своим, нетерпеливским своим почерком выдавить из гранёной его пипетки слово сладостное, и печальное, и простое — конец.

3

Баратынский поместился в детской, вытеснив маленького Евграшу в гостиную, в спальне осталась Света, а Гонобобль, тот сидел в ванной неделями...

Баратынский, лёжа на боку и непонятное опуская, читал чётные страницы одного жутко знаменитого романа из быта уголовных элементов — "Пистолет одиночества" называется. В пространстве за прокрустовым канале надутые Абрашины носочки разыгрывали чинные сцены встречи, общенья и прощанья, и снова встречи...

Маленький Евграша за жевачку учил "Отче наш", Света была по хозяйству, а сам — перетирал литые тусклые отраженья буковок, грохал частями всякими и кричал: "Света, отвёртку!" или "Света, откати же меня в уборную!"

Баратынский, апплицированный горчишниками, полоскал горло; маленький Евграша тоже полоскал, а Света, катя призматического типографской краскою Гонобобля, иногда целовала его взапой. — Гонобобль оглядывался.

Пора настала. Собраться решили в детской (Абраша потел).

"Ну-с, господа, — сказал Гонобобль, протягивая, как хлеб-соль, форму с набором, — имею честь объявить наше маленькое заведение введенным в действие!"

Баратынский сказал ура и подвигался под одеялами.

"Думаю, господа, не вызовет возражений наше предложение поставить в нашем издательском плане нашим пунктом первым известное произведение Михаила Гонобобля "Наш Фауст", нам всем уже давно и хорошо известное. Итак, Светлана Валентиновна, плиз!"

Света переняла набор, проехала валиком с краскою, накрыла всё это бумажкой, загладила ещё одним валиком и, подумавши, подсунула под себя.

Наш Фауст

роман

Том первый

Иван Петрович очнулся в застенках КГБ связанным, со значительными телесными повреждениями, но морально несломленным.

Вдруг железная дверь глухо лязгнула, и в камеру вошёл человек с неизгладимыми следами пороков на землистом лице... —

вот что, конечно, полагали компаньоны прочесть на том желтоватом (в двух из четырёх ящиков оказался запас бумаги), но молодежово пахнущем типографией листе, освобождённом из-под естественного пресса. Однако: "Товарищи! Вспомним всех наших братьев, павших жертвой за лучшее будущее русского рабочего класса, и воздадим

клятву всеми силами продолжать их святое дело. Дадим друг другу руку, образуем рабочие кружки, объединимся в единую громадную Рабочую Социал-Демократическую Партию, чтоб общими силами завоевать светлое будущее для нас самих, для наших жён и детей!"

"Товарищи! Что это?" – спросил Гонобобль, прижимая к очкам страницу.

"Может, ты что не так сделал?" – сказала Света.

"Что? Что я мог не так сделать?! Дура!" – заорал Гонобобль и на одной ножке заскакал по комнате.

Абраша из своего шерстяного домика смотрел на всё страдающими, ничего не понимающими глазами. – "Михаил Витальевич, это, вероятно, ошибка... Ну, попробуем ещё разик, а?.."

Гонобобль обскакал уже комнату и упал в свою каталку. – "Светлана, ещё давай."

Света пожала плечом и сволокла к креслу ящик с наборной кассой. "Сейчас у меня всё рассыпется, всё рассыпется, я же не наборщик..." – быстро бормотал Гонобобль, выкладывая на коленях варварские те узоры. Жалекчи свой роман, он делал сборную страницу: несколько лирических строк Светы под псевдонимом Багина; что вспомнил Прохора Самуиловича – нечто удивительно кажущееся переводом из какого-нибудь очень прогрессивного средневропейского классика, – например, голландского или польского; кусок безымянной поэмы, отысканной Светой за шкафом, – реализм в поэме дошёл до степени волшебной – на Поле Куликовом князья изъяснялись с такими вопиющими нарушениями против соответствующей грамматики, с какими они, без сомнения, изъяснялись и в действительности. Больше у Гонобобля в доме чужого ничего не сыскалось, и в самый низ определили, сколько влезло, затерявшейся в Абрашиной постели исторической драмы Паши Сушкина "Власть – мы!!!":

"Ильин: Быть не может свободен народ, которого угнетают!

Товарищ Лиза: Ах, как верно, как верно, как смело!.."

Света с силой села на стул и застыла, выказывая ужасное напряжение всех членов – чтобы весить побольше, – а потому, когда Гонобобль сунул под неё руку, с великолепным, коровьим, испуганным взглядом, топоча, выбежала из детской вон, не поимев приятности присутствовать при раздирании в клочья злосчастного сего листка, держащегося ещё, по-видимому, слабой кривизны; наблюдать Абрашу, в виноватости своей накрывшегося с голову; ну и прочее.

...Через часа три в тихой тьме, обходящей сверкающие морщины Невы (она у нас не стоит последние годы; к концу света, думаю) послышалось чирканье гонобобльской ноги и скрип осунувшейся каталки.

"Всё! Всё! - говорил Гонобобль на костылях - движущаяся качелька. - В воду и концы! Глупо, глупо, как же всё это глупо!.. Сволочь Баратынский! Нет, всё! ...Всё в воду и... Света, ты никому не скажешь?"

"Что?" - меланхолически спросила Света, толкая плечами и грудями скрипящую чёрную башенку.

"Даже бумага... (чирк) ... почти вся траченная... (чирк) ... какие ж мы идиоты... (чирк, чирк)..."

"Миша, может здесь?"

"Что? Да-да, здесь. Значит так: докатываешь до самого низа и медленно-медленно, осторожно-осторожно наклоня..."

Их ослепил незапный и полный свет со всех концов; в этом свете, приставя горсти ко рту, но неслышимы в этом свете, со всех концов сверкающими контурами в полупоклоне бежали городовые; некто, прижав шляпу к сердцу, царапнул Гонобобля за плечо: "Извините, Михаил Витальевич, мы это дело заберём... реликвия всё же, а вы выбрасывать хотели... Зря... Зря... А насчёт бумажечки-то не волнуйтесь, будет чин-чинарём, согласно действующего положения, - вот, убедитесь:..." - и втиснул едва вернувшей зренью Светлане четыре в стопе "Королевы Марго". Городовые, сипя, хватали с кресла ящики и куда-то пёрли.

"Ну, убедились? Ну и ладненько. Извиняемся, коли что. Нам уже пора. Прощенья просим. До свиданьица. До свиданьица. До свиданьица."

Свет исчез со своей скоростью; ухнул неподалёку грузовик. "Фу, как холодно. - сказала Света. - Правда?"

"Да, - сказал Гонобобль, - свежеповато. Что?!"

Часы мои медленны, но дней нету скорее моих, потому что я подбираю слова моей скорой, еврейской и русской, с тёплой и дышащей кожей речи. Но слова, что одежды, - существуют, когда лишь надежды... Что ж... Не голой же в улицу выпущу речь, на дурацкие взгляды; но и не в очередях же ей ныкаться, не с заднего ж хода вм-

ваться — выберем и из своего, смотря куда идти и как там, на сердце... Это занятие нуждается в уединении, и оттого мы на Острове, между луком Невы да тетивою Обводного, и оттуда ни-ни (не считая, конечно, Васильевского и архипелага Петроградской, что принадлежны к нам, и всему этому вместе одно имя — Остров, как вся Великая Британья именуется Англиею.)

Материк же заставился городом, враждебным и победившим, но что нам в его белых шкапах, где лежат на полочках люди?

Мы — жители Дельты, и мосты не про нас.

Да и что там бывает? — а у нас так хорошо:

вот в Одиннадцатой роте колонный подъезд, за которым сам дом, как за уменьшительным стеклом — но это дом Баратынского — там книжки и гипсовый Гоголь с коническим носом;

вот идёт по Малому ПС Прохор Самуилович в ССПнеССП — налево второй квартал — там свобода, собранья...;

и Гонобобли, конечно, живут на Фонтанке в бельэтаже Толстовского дома и смотрят ночами, как перемещаются в чёрной воде извилистые пузыри;

и ещё сообщу вам, что чугунная лестница в подвале общежития второй автоколонны имеет ровно пятнадцать ступенек...

Что вводит полезную ясность в географию правдивой этой нашей повести, все события коей, совершенно вымышленные; а за случайные совпадения, что могут случайно случиться, автор совершенно, но вся орфография и пунктуация.

И курсив мой.

Вот.

5

...Абраша умер через два месяца, и Гонобобль со Светою провожали его на Преображенское.

Мужик с лопатой срезал серый в точечках, твёрдый снег, после — тряпшнные старые листья, после — чёрную землю и подsunул вазочку с пылью под ноздристый наследственный камень.

Гонобобль с тростью под мышкой, прихрамывая, топтался; Света спрямила круглые брови и спустила наконец слезу на правую скулку.

Четыре первых ласточки, чирикающая об слоистые и солнечные облака, не делали весны.

Прелестное, прелестное начиналось утро.....

Старый пруд!
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.
Басё, 1686



67

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Олег Осипов

Летний сад.

Среди заколоченных статуй

старушка без зонтика

ходит и ходит.

И ходит.

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Садик во дворе

на Литейном.

Листьев

у тополя осталось

на один выход

дворника.

ОСЕННЯЯ ГРАФИКА

Изменила

листва деревьям.

Они

как узники

перед расстрелом.

x x x

Сказала ты,
что тёплые
в земле
корни деревьев.
Я жив.
Но их объятий
жду.

ЖЕНЩИНА

- Ваши глаза
голубые,
как ветер.

- Ветер
не может быть
голубым...

Ответила женщина.

Почему же
мне зябко,
подумал он.

67

НИКОЛЬСКИЙ СОВОР

- Мама,
почему в церкви
поют?
- Мы поминаем.
- Мама,
зачем у нас в руках
свечки?
- Мы скорбим.
- Мама,
а почему ты и я
в чёрном?
- Мы живые.

ДВЕ СМЕРТИ

Орхидея обронила
последний лепесток.
Для посетителей парка
умерла.
Для себя
приготовилась.

Л. АРЕНС
В. СИМОНОВ

История № 5
1 40
II 40
III 40
IV 50

Б. КОНСТРИКТОР

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ



Лидия Аренс

ВОСПОМИНАНИЯ

об аресте, суде, этапе, пребывании в лагере и освобождении

Лагерь и фабрика

Привезли нас на станцию Яя, и когда нас построили по пять человек, то через пятнадцать минут хода мы уже были пропущены в ворота большого лагеря и впущены в двери барака карантина, где должны были провести ещё две недели в полном безделье и ожидании. Тут кормили немного лучше, и мы имели кроме 400 гр. хлеба ещё и селёдку и два раза суп-баланду. Все мы были уже очень истощены, и лагерное начальство явно было недовольно этим пополнением — готовые дистрофики!

Сидели в карантине опять вместе с уголовными, но они тут вели себя тихо и нас не решались обижать.

Как-то я вызвалась принести суп из столовой. Нас пошло четыре человека с двумя большими котлами, и я впервые увидела лагерников, так называемых "зека" — заключённых, и была потрясена их видом.

Мы ждали в столовой, огромном бараке с узкими столами и скамейками возле них и окнами в кухню для раздачи пищи. Начали входить заключённые. Они напоминали внешним видом нищих, которые когда-то ходили по деревням, прося милостыню под окнами изб. Что за одежда? Это бушлаты и телогрейки четвёртого срока но́ски, все в заплатках. А ноги? Боже мой, чего только не увидишь на них! И резиновые чуни на ватных чулках, и старые подвязанные верёвками ботинки, и лыжные пьексы, и лапти, и солома, навёрнутая на ноги и подвязанная тряпками и верёвками. Изредка виднелись и хорошо одетые в новых телогрейках и хорошей обуви — это служащие из "зе-ка".

Я была ошеломлена внешним видом заключённых, но ещё больше я была потрясена, когда утром, после распределения по баракам,

Часть II — Публикуется в сокращении. Деление на главы и подзаголовки: "Сумерки".

Часть I — см. "Сумерки" № 6.

нас повели на швейную фабрику, и навстречу шли люди с ночной смены, такие измученные, усталые, с погасшими глазами и жёлтым цветом лица. Мне стало страшно. Я поняла, что делает с людьми непосильная работа, и решила не работать на этой фабрике, бежать с этой работы, найти другую. Как бы ты ни старалась бежать с фабрики, тебя всё равно будут возвращать на неё, так или иначе заставят работать на ней.

Работа идёт в две смены, каждая по одиннадцать часов и с часом перерыва на обед. Особенно тяжелы ночные смены, которые длятся две недели, а потом пересмена и две недели днём, с семи утра до шести вечера. О выходных днях никто и не мечтал — их не было. Идёшь вечером в цех, а в животе одна баланда, хлеб съеден утром с кипятком. Ночью начинает болеть живот, болят кишки, и болят от голода. Ясно, что утром, получив у бригадира свою пайку хлеба (а ещё пока-то её получишь и достанешь кружку кипятку, сколько потеряешь времени), съешь её целиком.

А какой сон днём в бараке, где живёт 300 человек? Половина на работе, а половина "дома". Тишины, хоть её и требуют, конечно, нет. Спишь плохо, в двенадцать надо идти за обедом, и в бараке с двенадцати до двух, пока не пройдут все смены, шум, потом иногда и не уснуть, а в шесть за ужином и к семи на работу.

Фабрика выбрасывала дистрофиков-инвалидов, их было огромное количество на 5 — 6 тысяч заключённых, но фабрика работала отлично и давала государству большое количество такой нужной тогда военной одежды. У нас был исключительно военный пошив. Шили гимнастёрки, брюки, тёплые бушлаты, шапки. Фабрика имела красное знамя, награды за перевыполнение плана и т.д., но мы не имели ничего и гнали из нас последние силы за паёк. Кто не работал, потому что не мог или не хотел работать, тот получал 300 гр. хлеба и раз в день баланду, ну а это медленная смерть. Работая из последних сил, обливаясь потом, получишь стахановский паёк, а это 800 гр. хлеба и дополнительное блюдо на ужин и обед, то есть немного каши или гороха или одна оладья.

Я видела работу этих стахановок в цехе и поняла, что то лишнее, что они получают, не оправдывает и не компенсирует затраченного ими труда, что лучше получать 400 — 500 гр. хлеба и не иметь дополнительного блюда, но не тратить столько сил на работе, и я решила так и работать.

А всё же я была принуд-стахановкой, когда мне пришлось работать на конвейере, размеловывая карманы на передках гимнастёрки, налокотники на рукавах и нашивки на воротниках.

Если конвейер перевыполняет норму, то и я-стахановка и мне дадут стахановский паёк и ставят возле меня красный вымпел. Работа адская. Надо прийти заранее и наточить мелки (потом это делать некогда) и со звонком начинать накладывать шаблоны и аккуратно на нужном месте обводить их мелом, чтобы швеи знали, где пристроичить карманы и прочее.

Стоишь в середине огромного стола, перед тобой доска вроде чертёжной, по обе стороны по двадцать швейных машин, работающих на большой скорости от электрического привода и на ножном управлении. Положат перед тобой передки, а рукава, как сосиски, на одной нитке, и их бросаешь под стол и потом тянешь их оттуда, а воротники и не знаешь, куда девать, — тесно.

Вот начинается крик: "Передки, передки!" — и только сделаешь десяток, уже кричат: "Рукава, рукава!" — а не успеешь их размеловать, как кричат: "Воротники!" — и надо иметь крепкие нервы и большую выдержку, чтобы всё успеть, не наврать в спешке, а то — брак, тебя же заставят исправлять. Покурить в перекур не успеть, он всего 15 минут, а за это время надо дойти до места, где разрешено курить, и до звонка вернуться обратно, да и мелки надо заточить. Вот и стоишь как проклятая десять часов. Тяжело!

Я около трёх месяцев работала так, но потом решила уйти с этой работы, а для этого надо было, чтобы меня сняли с неё, ну и я стала не успевать и поругалась с заведующей конвейером. /.../

Моё короткое бригадирство

Много разных работ пришлось мне переделать, и всегдашней моей целью было работать не на фабрике, и всё же меня на неё постоянно возвращали и заставляли работать в бригаде "ручниц", то есть обрезать нитки с готовой продукции.

Я была и дневальной в бараке, и стегала одеяла для больницы из грязной ваты и ещё более грязных марлевых обёрток с метража, то есть материала для пошива. /.../

Летом работала на ремонте барачков, приготовляя смесь для их обмазки, и ходила с лопатой на землекопные работы, и была бригадиром на работах по добыче торфа и т.д.

В моей бригаде по добыче торфа было тридцать блатнюг, и я должна была дать каждой работу, составить график выполнения и получаемого за это хлеба, встать в пять утра и идти с двумя дежурными в раздаточную хлебопекарни, где выдаётся хлеб на 5 - 6 тысяч человек, и стоять там в очереди представителей всех цехов и работ лагеря.

Раздача делается с необыкновенной быстротой по заранее поданным спискам, и пайки летят по лотку, и только успевай их подхватывать и класть в ящик так, чтобы не спутать 700 гр. с 600 гр. и с 500 гр., чтобы не отвалились привески, приколотые деревянными колышками.

Ящик дежурные вносят в барак, где его уже нетерпеливо ждут, и я раздаю хлеб по списку, тщательно отмечая выдачу и особо горбушки - на них своя очередь. Если я ошибусь, то сама останусь без своей пайки в 500 гр. Всё это сопровождается едкими замечаниями в мой адрес, руганью и матом и всегдашним недовольством полученным количеством. А я и так, сдавая ежедневно отчёт о выработке за день, свирепо старалась у начальника общих работ получить для них побольше.

Наконец, я так устала от вставания в 5 утра (на час раньше) и от всей этой несправедливой ругани, которой я подвергалась с утра до вечера, что сказала начальнику (он тоже был заключённый), что я отказываюсь быть бригадиром, что лучше я сама буду работать. Он меня долго отговаривал, убеждая, что мне будет куда тяжелее, но я твёрдо стояла на своём и сказала ему, что физически будет труднее, но морально легче.

Работала потом на перекладке торфяных брикетов для просушки и на многих других работах.

Всё было тяжело и почти непосильно, но лучше всего было летом месить глину, навоз и песок с водой голыми ногами, а потом влезать на лестницу и залеплять щели между брёвнами барака и, стоя на лестнице, любоваться тем, что видно за колючей проволокой, смотреть, как идут поезда, слушать свист паровоза и мечтать о том, когда же ты уедешь отсюда, когда же он и для тебя свистнет, этот паровоз! /.../

Жили мы в бараках для 58-й, но там было много уголовного элемента, который по сути к 58-й статье не принадлежал, а имел эту статью дополнительно к уголовным статьям, потому что её

тогда давали чуть ли не всем. Например, как-то уголовницам (уркам), в количестве десяти человек, надоело сидеть в каком-то лагере, и они взяли и выкинули в окно самодельный флаг с надписью "Да здравствует Гитлер!". Ну, их судили в том лагере, дали им по 58-й статье по 10 лет и привезли их в лагерь на Яя, и жили они в бараках для 58-й!

От этого уголовного элемента в бараках было очень тяжело, да и краж было без конца, и мат стоял в воздухе.

Я спала, раздеваясь, как ни холодно было в бараке. Прихожу как-то в обед за посудой, а моя соседка по нарам спрашивает меня: "Вы что, отдали простыни в стирку?" Смотрю, а обеих простынь нет. Иду к старосте, а она мне говорит: "Вас триста, а я одна, что я могу сделать?". Так постепенно украли очень многое, а спать приходилось, подложив под голову крепко завязанный тук из остатков своих вещей. Подушку-то ведь отобрали ещё в Ленинграде, и удалось отвоевать и сохранить только ватное одеяло, которое так спасало, и не только меня, в промёрзшем вагоне поезда, да и сейчас помогало в холодном бараке.

Мне думается, что самое тяжёлое в лагере — это вынужденное общение и совместная жизнь с совершенно чуждыми и часто глубоко противными людьми, с людьми, низко стоящими как в моральном, так и в умственном отношении, и необходимость быть с ними бок о бок днём и ночью, на работе и в бараке, и никогда не быть одной, всегда на глазах у людей. Очень тяжело отсутствие уединения, которое так необходимо человеку и, по-моему, всякому, но особенно интеллигентному.

Достоевский в своих "Записках из Мёртвого дома" пишет: "Скажу одно: что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолыдин, идущий в каторгу, приходит в своё общество, даже, может быть, ещё в более развитое. Он потерял, конечно, много: родину, семью, всё, но среда его остаётся та же. Человек образованный, подвергающийся, по законам, одинаковому наказанию с простолыдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду, для него недостаточную, должен приучиться дышать тем же воздухом... Это — рыба, вытасненная из воды на песок... И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него вдесятеро мучительнейшее. Это истина... даже если б дело касалось одних мате-

риальных привычек, которыми надо пожертвовать".

Когда в лагере на Яя я впервые услышала за стенами барака весёлый разговор и смех, я вышла, чтобы посмотреть, кто может здесь смеяться?! Потом я привыкла к тому, что в лагере смеются, что есть много заключённых, которым тут вполне хорошо, даже так хорошо, что не хотят уходить из лагеря, когда кончается их срок.

Как-то нас вызвали на поверку, как всегда летом, на улицу перед бараком, выстроили, пересчитали, и мы пошли ложиться спать. Не прошло и получаса, опять крик: "Выходи на поверку!". Только успели лечь, и опять в третий раз строят и тщательно считают. Что такое, в чём дело, сбежал кто-нибудь? На другой день узнаём, что одна уголовная должна была быть освобождена, но не желала этого и спряталась под нарами, где её с трудом нашли.

Когда освободили дневальную нашего барака по фамилии Лебедь, а была она из "жён", то есть членов семьи врага народа, то она, просидевшая в лагере пять лет, так боялась "воли" и так себя хорошо чувствовала у плиты, которая топилась чуть ли не круглые сутки и где можно было что-либо себе согреть или сварить, только отдав ей часть в виде взятки, что с ней сделалась "медвежья болезнь" и она не хотела уходить. Говорили, что она где-то по пути украдала чемодан, чтобы опять попасть в лагерь.

В лагере на Тайге мне пришлось жить в бараке бытовиков, и там дневальной была женщина двадцати шести лет, ходившая в мужской одежде, и все звали её Толик. Мы как-то вместе вышли покурить, и я спросила её, за что она тут. Она мне рассказала, что скоро кончается её десятилетний срок, что она была в шайке фальшивомонетчиков и всех расстреляли, а ей дали десять лет, потому что ей было тогда всего шестнадцать. Когда я уже была на другом лагпункте, то узнала, что она бросилась с ножом на беременную, которая жила в том же бараке, и нанесла ей девять лёгких ножевых ран, что она арестована и её будут судить. Поражённая этим рассказом, я спросила, зачем же она это сделала, ведь у неё кончался срок, она могла выйти на волю? А её подруга объяснила мне, что она это сделала, чтобы опять получить срок, и не малый, что она не хочет выходить, да и нет у неё никого на воле, а в лагере ей неплохо.

Эти случаи меня поражали, и так хотелось сказать начальству: "Да дайте им по десять лет, пусть сидят! А меня отпустите, я хочу на волю, ах, как хочу, а мне сидеть десять лет!"

Меня очень интересовало, были ли побеги из лагеря и самоубийства. Узнала только об одном удачном групповом побеге двух уголовных со своими "дамами", севших в машину, которой один из них правил, работая шофёром в лагере на Яя, и смело поехавших на незапертые, но прикрытые ворота. Охрана стреляла им вслед, но они неслись на бешеной скорости и исчезли, а другой машины в лагере не было. Вероятно, их где-то ждали сообщники и заготовили им документы и укрытие. Брошенную машину нашли, а их нет.

Самоубийства же чрезвычайно редки, и я слышала только об одной повесившейся, да вот этот начальник общих работ, бывший офицер, который уговаривал меня остаться бригадиром. Он, когда заболел аппендицитом, отказался от операции и умер в день своего шестидесятилетия.

Хоронят где-то за пределами лагеря и проводить можно только до ворот, к которым охрана уже не подпускает и в них не пропускает.

Смертность в лагере очень высокая, но жизнь в нём сведена к удивительному примитиву, и желания сконцентрированы только на еде, сне и на мечте выйти на волю, не умереть в лагере, где так тяжело и грустно умирать.

Лагерь на Яя был строгого режима, и мы могли писать только одно письмо в месяц, которое сдавалось старосте и по списку проходило через лагерную цензуру. Уголовные могли писать, сколько хотели.

Какое для меня было страдание, что я не могла дать о себе знать, что я писала в Ленинград, писала каждый месяц, и, видимо, письма не доходили до заблокированного города. Только спустя год, в сентябре 1942 года, я получила первое письмо — дошло, наконец, одно моё письмо. Ах, какое это было счастье! Я просто ожила, ощущая тепло, чувствуя заботу друзей, их моральную поддержку.

В лагере на Яя было около двух тысяч "жён". Это были жёны осуждённых по 58-й статье, виноватые только в том, что они были жёны, то есть "члены семьи врага народа". Они просидели два года в Томской тюрьме, ничего не делая, ничего не зная о своих детях и близких, не имея писем и возможности писать, зверски

голодая, терпя всяческие издевательства и не зная, что же с ними будет. Видимо, и начальство не знало, что с ними делать. Их привезли на Яя, где все они работали на швейной фабрике и работали хорошо. Многие были начальницами цехов, работали и в канцеляриях. Это был почти сплошь интеллигентный народ.

Я обратила внимание на одну из них. Она была выше среднего роста, с каштановыми выжмиными стриженными волосами и большими чёрными глазами на некрасивом лице. Когда я курила у входа в барак, где мы жили, она стояла рядом и, изредка поглядывая на мой окурок, ждала, не оставлю ли я ей докурить. В бараке не раз оставливали меня прикосновением руки и вводила из спора или разговора, а потом предупреждала, что такая-то уже предала и посадила нескольких, а самое страшное это получить лагерную 58-ю, тут уже нет никакой надежды выйти на свободу. Мы подружились, и Тамара Ивановна Купфер рассказала мне, что когда посадили в 1937 году её мужа, инженера-конструктора, то она осталась дома с тремя детьми. Прошло десять месяцев, и она уже была уверена, что ничто ей не угрожает, но вдруг забрали её, а трое мальчиков пяти, семи и девяти лет остались одни в квартире и были потом определены в детдом. Она их уже из лагеря на Яя отыскала через культурно-воспитательную часть (КВЧ) и узнала, что они в детдоме в городе Шуе. Писала туда старшему сыну и старалась что-то накопить и послать им. Ведь иногда и нам платили небольшую зарплату, но только тем, кто весь месяц выполнял норму, не имея брака и т.д. Я на Яя за больше чем полтора года работы, кажется, только два — три раза получила какие-то гроши.

Вообще, "жёны" имели кто пять, а кто и восемь лет и, видимо, это зависело от воли, а может быть, симпатии следователя. Тамара Ивановна имела восемь лет. Она хотела жить, думала о своих детях и их судьбе, мечтала потом собрать их возле себя. Это ей и удалось, когда она, закончив срок, приехала ко мне в 1946 году в город Боровичи Новгородской области, где я жила с 1945 года. Она реабилитирована, живёт в Ленинграде, и мы остались друзьями^{х)}.

Хлеб

В лагере мы с Тамарой Ивановной обе страдали от того, что

х) Купфер Тамара Ивановна умерла 6 марта 1969 года.

курили, но в тех условиях это была единственная радость и наслаждение, если не считать наслаждением получение пайки хлеба и медленного его поглощения с мыслью "до завтрашнего сладкого утра!" Вообще, жизнь была сведена к невероятно примитивным желаниям и радости их удовлетворения — есть, спать, курить... вот как тут не курить? Это была единственная роскошь, которую мы позволяли себе за счёт своего здоровья, отрывая от себя кусок хлеба и меняя его на табак, а стоил он дорого, и на пайку хлеба в 500 граммов давали стакан махорки-самосада.

Как-то раз я сложилась с одной "женой" по полпайки и пошла на конбазу менять эту пайку хлеба на стакан махорки. Вхожу в их барак и получаю согласие на обмен. Одна из них подходит и берёт у меня из рук хлеб и тут же кладёт его на стол, оборачивается ко мне и кричит: "Вон отсюда!" — сопровождая это потоком совершенно цензурной ругани и толчком, от которого я вылетаю в дверь. Я открываю дверь и умоляю отдать хлеб или дать махорку, говорю о том, что мы же товарищи, все мы заключённые, что некрасиво так поступать и т.п. Но меня обкладывают дикой руганью и захлопывают дверь. Я в отчаянии, ведь не только мой хлеб в этом куске! Я опять открываю дверь и прошу, убеждаю... но каждый раз дверь хлопает перед моим носом с обещанием дать мне так, что я долечу до своего барака... Вдруг слышу крики, шум драки, ко мне выбегает староста барака и, бросая мне хлеб, кричит: "Хватай хлеб и беги, беги во всю!". И я бегу, бегу что есть сил. Когда они разодрались из-за этого куса хлеба, то, редкий случай, староста пожалела меня.

Как-то я пришла в столовую с куском хлеба, и его схватила бандитка, но я вцепилась ей в бушлат и просила — отдай хлеб! Она так вывернула мне большой палец на правой руке, что разорвала связки и я, конечно, выпустила её бушлат, а палец болел год.

В лагере кража пайки хлеба — это тяжёлое преступление, и пойманный вор избивается окружающими без сожаления и иногда до бесчувствия. А вот я однажды украла пайку хлеба! Пришла я с работы и слышу бурные разговоры о том, что был днём в бараке "шмон" и что у той, которая спала подо мной и работала в другую смену, так что я её совсем не знала, нашли под матрасом целых восемь паек хлеба, уже зацветших и позеленевших, которые и были забраны. Обсуждался вопрос, почему она сама не ест хлеб, почему

ни на что не меняет, зачем копит и портит пайки. Никто ничего не знал, но все осуждали её. Следующей ночью вдруг погасло электричество, и я решила быстро спуститься вниз и пошарить под матрасом, чтобы узнать, не начала ли она опять копить хлеб. К моему удивлению, я нащупала одну пайку хлеба и, быстро схватив её, успела подняться к себе наверх до того, как дали свет. Ночью я её тихо съела с превеликим наслаждением и без всяких угрызений совести. А пострадавшая промолчала.

Раз в неделю, по субботам, было кино, и при входе стояли мужчины и курили.

Вообще, на Яя было четыре с половиной тысячи женщин и 500 мужчин, и они были "коты", выбирали себе тех женщин, которые могли им помочь жить и отдать свою еду, постирать и т.д., а сами неплохо зарабатывали, делая котелки, ножи и другие необходимые в быту вещи. В табаке они не нуждались и, как звонок в кино, бросали недокуренные самокрутки, а мы с Тамарой Ивановной после их ухода подбирали окурки и, вытряхнув "улов" на бумагу, заворачивали закрутки и наслаждались! /.../

А Ирина Керсновская оказалась в лагере на Яя!?! Я это узнала случайно только спустя несколько месяцев. Как-то я работала по обрезке ниток на готовой продукции. Когда шьют на машинах, то рвут нитки и на левой стороне уже готовых изделий остаётся их целая куча, и потом сидят "ручницы" и срезают эти нитки. Адски скучная работа, и норму на ней выполняют только те, которые внимательны и не думают ни о чём постороннем. Я на этой работе никогда не могла выполнить норму и терпеть её не могла. Я всегда спрашивала товаров, каким этапом они прибыли и не знают ли Керсновскую, и вдруг одна мне говорит, что она этапа 5 сентября 1941 года и что Ирина здесь в лагере, но лежит в стационаре. Я уже в обеденный перерыв бегу в больницу и в одном из окон вижу её. У неё от изумления глаза стали огромными. Мы поговорили через решётку у уборной, и я узнала, что она уже поправляется после флегмонны ноги. Жила она в другом бараке, но мы часто встречались после работы. Она уже после моего отъезда на Тайгу была тоже переведена в другой лагерь, где получила "лагерную 58" и просидела четырнадцать с половиной лет. /.../

Когда я стала болеть фурункулёзом, то решила променять своё осеннее пальто на пайки хлеба и деньги для покупки ужинов и обедов.

У нас в бараке жила полька Адель Забелло, осуждённая за шпионаж к десяти годам, и она предложила мне купить пальто и через день давать пайку хлеба в восемьсот грамм и сколько-то деньгами (подробности забыла). Я согласилась, но с тем, что отдам пальто после его полной оплаты. Она всё выплатила, и я отдала ей пальто и забыла о нём, но однажды она подходит ко мне и просит пойти с ней к коменданту и подтвердить, что это пальто её. Я сейчас же пошла с ней. Комендант спрашивает меня, как же это я не знала, что в лагере ничего нельзя ни продавать, ни покупать. Я объяснила ей, что сделала это, чтобы подпитаться. Она вытаскивает из-под стола пальто и спрашивает: "Это?". "Да", - говорю. "Ну, так вот пишите расписку, что Вы его получили и обязуетесь не продавать". Я в ужасе и начинаю доказывать, что я всё за него получила, что оно уже не моё, а Забелло. Комендант, молодая, полная и очень красивая женщина кричит мне грозно: "Прекратите разговоры, пишите расписку, берите пальто и идите!". Вот тебе и раз! беру пальто и, смущённая, иду в барак, а на пороге стоит староста и говорит мне: "С Вас стакан махорки, пальто получили?". Оказывается, она знала об этой сделке и сообщила в комендатуру, когда Забелло выходила на волю и не с одним чемоданом! Кто всё проедал и голодал, а кто умел и в лагере приобрести имущество! А мне-таки пришлось достать стакан махорки для старосты!

Как часто приходилось отдавать свой хлеб и голодать! То надо дежурить по бараку и мыть длинный коридор, уборную и т.д., а я не в силах! То надо постирать, а на Яя надо стирать самой и носить воду, а нет сил! То курево и т.д. А как тяжело отрывать от себя кусок хлеба, ах как тяжело!

Прилагерное питание

Отличный человек, вольный врач Фридман добилась для заключённых дистрофиков, больных пелллагрой, особого питания и освобождения от работы на месяц. Нас поселили в одном бараке, кормили лучше и питательнее, давали 500 грамм хлеба, а главное, мы не должны были работать, а работать было непосильно и невыносимо тяжело. Еды всё равно не хватало, есть всё время страшно хотелось, и мы мечтали о котлах, а не о тарелках с едой. Через месяц взвешивали и некоторых счастливых оставляли ещё на месяц на этом, как его называли бытовики, "прилагерном питании".

Как-то пеллагриков заставили идти разгружать из вагонов метраж, а это катушки материала для пошива по несколько пудов весом, и катить их надо из вагона во второй этаж, в склад. Конвоиры кричат: "Давай, давай!" - а как за них взяться, ведь сил-то ни у кого нет. Ну, человек десять - пятнадцать облепят катушку со всех сторон, и катят, и дотягивают! Наступило обеденное время, а нас не отпускают, и я тогда сказала, что надо бы пойти обедать. Конвоир как заорёт на меня: "Что, бунт подымать! А ну, отойди в сторону, а я потом поговорю!". Не допустил больше к работе, и я, испуганная, проболталась где-то в стороне. Когда кончили разгрузку, а им это было очень нужно, чтобы не платить за простой вагонов, и был уже вечер, то конвоир сказал какой-то девке, пришедшей что-то оформлять: "Пяши на неё протокол!" - но, к моему счастью и удивлению, эта девка посмотрела на меня и сказала: "Проваливай к чёрту, да побнстрей!" - и я ушла со всеми. А ведь я очень волновалась и ждала беды в виде лагерной 58-й! А все остальные пеллагрики были так испуганы, что изо всех сил и без обеда работали допоздна.

Как-то предложили пеллагрикам пойти на склад перебирать рыбу, и я пошла в надежде поесть вволю рыбы. Надо было сортировать солёную камбалу. Ну, ясно, что мы отодрали жирные спинки и наелись досыта, но без хлеба, а самое главное, нет ни капли воды. Вот было страдание! Кое-как дотерпели, а всё, что набрали с собой, вытряхнули из нас при обыске и выбросили в помойное ведро, ну и обидно было! Я была в лаптях (это в лагере летняя обувь) и, спрятавшись за бочку, положила по небольшой рыбине в каждый лапоть и хорошо дошла, а вечером обменяла каждую рыбку на ужин.

На следующий день мы были умнее и взяли с собой хлеб и воду в бутылки, я опять спрятала рыбу в лапти, но на выходе зав.складом, тоже зека, при обыске говорит мне: "Сними лапти!". Ай, чёрт возьми, уже донёс кто-то! Ну, отняла и ещё начала ругать, но я возмутилась и сказала ей, что мы, больные, идём работать не для её прекрасных глаз, что она зажралась тут, что она сама заключённая и должна понимать, что мы голодные, и не мешать нам есть и не отнимать от нас то, что мы взяли, и тут же на наших глазах бросать отнятое в помойку!

Больше на эту работу я не ходила, зачем?

Инвалидный лагерь

Однажды летом, не работая днём, я сидела на краю колодца, греясь на солнышке. Подходит ко мне одна знакомая по бараку и говорит: "Пошли на комиссию". Мне было всё равно, мы пошли. Подошла очередь, и надо было раздеться догола и войти туда, где сидела эта неведомая комиссия! Спросили фамилию, где работаешь, в каком бараке живёшь, взвесили (я весила 36 кг), все врачи издали посмотрели на меня, и вольный врач сказала: "Запишите налево". Что это значило, мы не знали, но обе попали "налево"!

Прошло две недели и вдруг на работе выкликают фамилии, и мою тоже: "Собирайтесь с вещами, казённые оставить!". Отправка! Куда? На другой день ведут на поезд, и Тамара Ивановна в этой же группе. Едем долго в запертой пустой теплушке, голодаем. К утру дают хлеб и воду. Днём высаживают где-то, и мы долго ещё идём пешком и тащим свои вещи. Оказались мы в инвалидных лагерях на станции Тайга. Они легче, потому что односменная работа и ночи спишь в бараке. Тамара Ивановна простудилась, заболела, попала в стационар, где и пробыла чуть ли не год. Я изредка виделась с ней. На 2-м лагпункте был замечательный доктор Николай Григорьевич Петров. Насколько я знаю, он был врачом Кремлёвской больницы в Москве и по делу "отравления Горького" получил восемь лет. Он отлично наладил медицинскую помощь заключённым и хорошо подготовил из заключённых медбратьев, которые обслуживали стационары.

Этот лагпункт был расположен в пустой тайге, в нём было около 450 мужчин и всего 50 женщин. В противоположность лагерю на Яя, здесь на положении "котов" были не мужчины, а женщины. Это они выбирали себе тех мужчин, которые могли их содержать и помогать жить.

Доктор очень любил привлекать интеллигентных людей к работе в здравотделе и предложил мне работать "бонификатором". Я спросила, что это значит, и он объяснил мне, что "бонни" — это добро, а "бонификатор" — это дающий добро, то есть освобождающий людей от вшей!? Весёлая работа.

Выполняла эту работу ещё молодая женщина. Доктор, видимо, недовольный её работой, предложил ей показать мне, что надо делать. На другой день я ходила за ней из барака в барак и наблюдала, как она осматривает ворота рубах и выворачивает пояса у штанов и, найдя вшей, гоняет в баню и вошебойку. Тащилась за ней,

едва поспевая, и так устала, что слегла, и поняла, что эта работа не по моим силам и надо завтра же сказать об этом доктору. На другой день встретила доктора, и он сам сказал мне, что он всё видел и знает и что он выпишет мне больничное питание на два - три месяца, а потом он поговорит со мной о работе.

Я страшно обрадовалась - не надо работать, ведь я была совсем без всяких сил. Доктор же мне посоветовал не залёживаться, а ходить гулять по несколько раз в день, что я и делала ежедневно. Обойду лагерь, устану и лягу на свою койку, а через два - три часа опять иду гулять и люблюсь небом и заснеженной тайгой. Этим я себя спасла и немного окрепла.

К обиде доктора, я через три месяца пошла на работу в цех, а не к нему в санчасть, не люблю я больных.

К работе в игрушечном цехе я присмотрелась, пока была на больничном питании, и договорилась с бригадиром Макагоновым. Он посадил меня вырезать ножом из деревянных дощечек акробатов. На этом лагунке делают деревянные ложки, гребни и игрушки: акробатов, крутящихся на верёвке, медведя и крестьянина, бьющие по очереди молотом по наковальне, деревянные пистолеты и оружие для детей. И это когда идёт война! И на этом сидят не только инвалиды! А сколько деловой берёзы переводится на эту чепуху!

Ножом я владела не так ловко, как подростки - немцы с Поволжья, которые имели по пять лет по "указу" за бегство с тяжёлой работы на шахтах. Все они были "стахановцы", я же с трудом выработывала 400 грамм хлеба, и мой бригадир быстро понял, что мне надо дать другую работу. Он предложил мне окрашивать готовых акробатов, и на этой работе и я стала "стахановкой".

Краски надо было варить из какой-то жуткой драни, столярный клей исчезал, неизвестно куда, и окраска получалась часто блёклой, тусклой, и мой бригадир, хоть и получал от меня через день 300 грамм хлеба, которые я ему тайно (по предварительному уговору) клала в его ящик, всё же крыл меня крепким матом. Вскоре я сделала открытие, что столярный клей целый день жевал мой же помощник Бюгер!

Условия работы напоминали допетровские времена: бараки низкие, тёмные, с маленькими окнами, длинные столы из неструганных досок, и вокруг них сидим мы, изнурённые оборванцы, на чурбанах, и до одиннадцати утра на каждом столе не горят, а испускают столбы

копоти по две коптилки.

В шесть утра получали пайку хлеба в рабочем бараке под свет и треск горящей бересты, и я шла к плите, жарко топящейся остатками деловой берёзы, и старалась поджарить свой кусок хлеба, сделать его вкуснее, но ведь и другие хотели того же! Вспышки пламени из открывающейся дверцы плиты освещают толпу мрачных, оборванных людей. Все стоят молча, стараясь пробиться ближе к теплу, беззастенчиво отталкивая тебя и твой хлеб. Потом завтрак, и впереди беспросветный день работы, и вообще всё беспросветно. Гложет тоска. Разве отсюда выйдешь? Только в могилу. Одно утешение, что нет ночных смен и все работают днём. Это инвалидный лагерь, но в нём много здоровых и молодых — они ходят на лесоповал и, возвращаясь, тащат за собой огромные берёзы с уже обрубленными сучьями, впрягшись в верёвки, которыми они обвязаны.

Женщины

В нашем бараке староста говорит о себе: "Ну кто не знает Райку Иванову!". Весёлая, молодая, достигает десятый год. Я как-то спросила её, за что она тут, и оказалось, что это вторая её судимость и что после первой она на свободе была всего три дня и сразу засыпалась на крупной краже, но вот сейчас она выйдет и уж больше всё, в лагерь больше не попадёт, красть не будет, хочет жить на свободе.

Тут не стирают сами, а отдают в стирку, и это уже большое облегчение. Интересно происходит раздача чистого белья. Все собираются вокруг старосты, и она бросает вверх, в воздух, вещи и кричит: "Чей сискодав, мать перемать!" и т.д. "А чьи штаны?" — и тут опять идут такие прибавления, что передать невозможно. Надо зорко смотреть на летящую вверх вещь и вовремя крикнуть "моя!", а то пойдй получи её!

Все урки сентиментальны, и у них культ матери. Поют жалобные, протяжные песни о маме родной, которой обещают никогда больше не попадать в лагерь, не покидать её.

Как-то ещё на Яя я попала в баню вместе с урками и была потрясена картиной, которая была вытатуирована на спине армянки Розы. Во всю спину крест, а под ним наискось могильная плита и вокруг креста надпись "могила моей матери". Я спросила её, зачем она это сделала, если сама не видит? Она ответила мне с грустной

серьёзностью: "Это в память моей любимой матери!".

Как-то, работая на швейном конвейере, я обратила внимание на то, что у молоденькой и очень хорошенькой Вали Андрияновой в пространстве между кистью и локтем крупно вытатуированы три буквы, и спросила её: "Ну зачем Вы это сделали?". Она улыбнулась и сказала, что это то, что ей дало в жизни больше всего удовольствия. Она же пряталась в уборной от прививок против брюшного тифа, и когда я её спросила, почему она так не хочет привиться, то она на полном серьёзе мне ответила, что эти прививки делаются для того, чтобы они "не хотели", и что она ни за что такой прививки себе не позволит сделать. К моим уверениям, что таких прививок ещё не изобрели, она отнеслась с насмешкой.

Татуировки у женщин—урок бывает необыкновенно циничными. Так, например, у одной вокруг причинного места была такая: "с ранних лет целки нет", а потом по бёдрам вниз шли имена возлюбленных, и было их так много, что, очевидно, скоро на бёдрах не хватит им места и придётся перейти на заднюю часть или икры!

Совместное пребывание в лагерях мужчин и женщин иногда приводило к появлению потомства, и на Яя были ясли и детсад. Изредка я видела, как бледные, худые дети парами шли на прогулку за зону. Их держали до пяти лет, а потом предлагали взять их родственникам заключённой или куда-то отправляли. "Мамки", то есть кормящие матери, работали на два часа меньше и среди работы отпусались для кормления своих детей, и, кажется, им давался какой-то дополнительный паёк.

На Рождество вечером на верхних нарах нашего барака собрались немки с Поволжья и тонкими голосами и не очень-то стройно запели "о, Танненбаум"! Стало так тоскливо и грустно, что я ушла из барака. Одну немку звали Амалия Карловна Гоппе, ну что может быть типичнее! Она часто рассказывала, как они отлично жили на Волге, какое у них было чудное хозяйство и, конечно, что они ели.

Освобождение

В середине января 1944 года прибежал в цех мальчишка из канцелярии лагеря и сказал мне, что меня вызывает доктор. Я отпросилась у бригадира и пошла. Доктор говорит мне: "О Вас есть запрос, расскажите о всех Ваших болезнях, я напишу акт". Написал, а закончил тем, что у меня пеллагра второй степени и что в усло-

виях лагеря это неизлечимо. Тут же мальчишка схватил акт и понёс его начальнику.

Я воспряла духом, поняв, что за меня хлопочет мой друг, адвокат Наталия Михайловна Михайлова. Мы с ней вместе кончали гимназию и остались друзьями на всю жизнь. Она знала из моих писем, что я активированный инвалид, и, не боясь, а тогда хлопотать за осуждённого по 58-й статье было опасно и редко кто решался на это, написала запрос прокурору по надзору за местами заключения. Прокурор ответил ей, что справки будут наведены и ответ дан. Было постановление прокуратуры СССР об освобождении активированных инвалидов, но их не освобождали под разными предлогами.

Вечером 31 марта я вышла из барака покурить. Смотрела в звёздное зимнее небо и думала о безнадежном будущем — видно, умереть здесь придётся, не вырваться отсюда! Вот уже прошло с запроса обо мне два с половиной месяца, а всё то же.

1 апреля был выходной день. На Тайге они были раз в десять дней. Я попросила соседку принести мне утром завтрак и продолжала лежать и дремать. Входит в барак уголовница Лида Гурцова, и я слышу, как она громко говорит: "Сегодня большая радость для барака, а главное, для Лидии Аполлоновны, — и, подходя ко мне, — вставайте, одевайтесь, Вас вызывает начальник на освобождение!". Я повела ухом, но не шевельнулась и ничего не ответила, решив, что это первоапрельская шутка, но она настойчиво стала говорить мне, что это правда, что "блядь она будет, если она врёт", но я и так знаю, кто она, что она "клянётся своими детьми", что действительно, начальник вызывает меня, но я знаю, что у неё нет детей и т.д. Собрался весь барак, и все стали убеждать меня, что она не врёт, и тогда у меня задрожали руки и ноги, и я стала одеваться, с трудом попадая в штанины и рукава.

Иду к начальнику, стучу и, войдя, вижу, что он сидит за столом, оперев голову на скрещенные на столе руки, и молча глядит на меня большими, светлыми, пустыми глазами. Фамилия его была Кочергин, и был он пьяница.

— Мне сказали, что Вы вызываете меня на освобождение, но сегодня первое апреля и, может быть, это шутка?

— Мы и первого апреля шуток не шутим, — мрачно сказал он. — Да, Вас вызывают на освобождение, но у меня сегодня нет конвоя Вас отправить.

Лечу в барак, все окружают, все радуются за меня и у каждого мысль, что если меня освобождают, то ведь и их могут освободить, а может быть? Все стараются помочь, собирают вещи, чинят бельё, стирают. Каждому хочется подержаться за тебя — так скорее выйдешь! — примета такая.

Через день только вызывают на отправку на I-й лагпункт, где оформляют освобождение.

Со мной идут двое немчиков — подростков, тоже на волю, и сопровождают нас два конвоира с винтовками за плечами. Идти надо семь километров с горы на горку по уже раскисшей дороге между чудесных заснеженных деревьев тайги.

Я очень слаба, идти быстро не могу, а тащить свои вещи и совсем не могу, и прошу одного паренька взять их себе на плечо, и обещаю поблагодарить хлебом (опять хлеб!). Идём медленно, нога за ногу, и тащусь эти семь километров три часа. Устала так, что повалилась на нары и заснула мёртвым сном.

Тот же лагерь, та же пища, то же окружение, та же кругом колючая проволока и вышки со стрелками.

Через день вызывает меня какая-то девка и говорит: "Подпишите вот эту бумагу, что Вы остаётесь в Новосибирской области". Я в ужасе кричу ей, что не подпишу, что не для того меня освобождают, чтобы я тут у вас под забором сдохла! Я хочу ехать к друзьям, где могу окрепнуть и стать человеком! Не подпишу! Она смотрит на меня с удивлением и говорит: "Как это не подпишите?" — "А вот так, не подпишу и всё!" — "Ну, тогда говорите с начальником" — "А где Ваш начальник?". Но она не отвечает и уходит, не оборачиваясь. Я молча смотрю ей вслед и вдруг вижу, что открывается дверь проходной и в неё почтительно пропускают молодого, красивого, белокурого офицера. Я спрашиваю кого-то: "Это начальник?" Смело иду к нему навстречу и говорю: "Разрешите обратиться (лагерная форма обращения к начальству)". Он останавливается и выжидательно смотрит на меня, а девка, не успевшая уйти, подходит и слышит разговор. "Вот меня освобождают, но хотят оставить в Новосибирской области. Что я тут буду делать? Ведь я активированный инвалид и прошу, чтобы мне разрешили уехать к родным в Кировскую область". Он внимательно меня выслушал, и, узнав, что я прошусь в село Богородское в восьмидесяти километров от станции Зуевка, сказал: "Отчего же, это можно" — и пошёл дальше. Девка сразу

подошла ко мне и записала на бумажке, куда мне надо ехать. Я взыграла духом и вернулась в барак весёлая — скоро ехать!

Назавтра приходит она с пустым листом, с непроставленным пунктом назначения и говорит: "Подпишите!". Я отказываюсь, а она начинает мне доказывать, что идёт война, что надо разрешение милиции и т.д. В результате я подписываю этот лист, но говорю ей, и так говорю, что она понимает, что, если меня обманет, — ей не жить на свете.

Прихожу в барак и рассказываю кому-то, что я подписала бумагу без указания места назначения, и сразу же мне сказали, что я останусь в Новосибирской области, что меня обманули. Я очень расстроилась и два дня мучилась страшными мыслями и предчувствиями, но вдруг вызывают, и всё в порядке!

Выдают на дорогу, на четырнадцать дней семь килограммов хлеба, два килограмма солёной рыбы. Для моих слабых сил ещё девять килограммов нагрузки! Но от такой нагрузки не откажешься — это жизнь! Делаю два пакета: один — остатки одежды и одеяло, другой — еда. Прохожу оформление уже за зоной в финчасти. Узнаю, что на вокзал посадить меня в поезд придёт расконвоированный заключённый и что у него будут мои деньги, находящиеся на моём текущем счёте (посылали мне друзья, но получить их я не могла). И он на них купит мне билет. У кого есть деньги, должен ехать за свой счёт.

Уже шесть вечера, иду на вокзал, а идти три километра. Иду по дороге и с трудом несу на плече груз, пока хватает сил, а потом выбираю место посуше, и бросаю свою ношу, и смотрю, не видно ли вдали чёрной движущейся точки — идущего человека — помочь мне поднять вещи на плечо. Стоишь, стоишь... Никого нет, сядешь на свои вещи и ждёшь, а кругом снежная каша — апрель всё же! Наконец увидишь: идёт человек, и ждёшь, долго ждёшь, и, наконец, подойдёт, и попросишь помочь, и идёшь опять, идёшь, сколько хватит сил, бросаешь вещи и опять ждёшь... Так я четыре часа шла эти три километра и пришла совершенно изнеможенной на вокзал, где была масса народу, рухнула на пол и заснула мгновенно, только успев подложить вещи под голову.

Дорога домой

Только на другой день ночью пришёл поезд, мой провожатый посадил меня в тамбур какого-то вагона и, сунув в полной темноте мне в руку билет и какие-то деньги, исчез бесследно, недодав мне бо́льшую половину их. Документ на получение паспорта по прибытии на место мне дали раньше.

В этом тамбуре с выбитыми в окнах стёклами было ещё четверо солдат. Мы сели на пол, чтобы спастись от дикого холода и ветра, прижались друг к другу и так доехали до Новосибирска, где в тамбур вскочил военный с револьвером в руке и закричал: "Выходи немедленно!". Мы оказались на платформе и так и остались на ней, глядя вслед уходящему поезду. Нас не пустили ни в один вагон — это был поезд с ранеными. Что делать? Иду в здание вокзала. Всюду лежат люди, некуда ткнуться. Нахожу какое-то местечко, ложусь на пол и, конечно, от усталости и слабости немедленно засыпаю.

Рано утром меня начинают пинать ногами, все кричат, и устраивается какая-то очередь прямо на месте, где я лежу. Вскакиваю и вижу, что все держат в руках какие-то бумажки. Что это? Оказывается, это очередные квиточки в кассу, и они уже неделю ждут поезда, а у меня нет ничего. Бегу куда-то в кассу, где их дают, и, сунув голову в окошко, говорю, что я из лагеря, ждать неделю не могу и что же мне делать? Оказывается, для таких "из лагеря" есть свой зал ожидания и свой комендант, а там, в этом зале, знакомые одежды, привычные лица... да, таких надо отправлять побыстрее, а то что-нибудь стащат, кого-нибудь обкрадут!

В этом зале сидела женщина с грудным ребёнком. Он был завернут, без пелёнок, в лоскутное ватное одеяло. Другая женщина подседа к ней, и стала ласкать ребёнка, и, очевидно, вошла в доверие к матери, и мать, оставив ей ребёнка, ушла купить еду. Когда она вернулась, то ребёнок лежал совершенно голый на скамье, а женщина бесследно исчезла вместе с этим лоскутным одеялом!

Уже к вечеру нас посадили в поезд и отправили до следующей большой станции, то есть до Свердловска, и опять стоп, пробка на неделю, а тут нет специального зала и коменданта для срочной отправки бывших заключённых. Решила объехать кругом через Нижний Тагил и побыть хоть пару дней у друга моего Ксении, с которой вместе кончали гимназию и были дружны всю жизнь.

Адрес я её знала. Купила билет и доехала до Тагила уже вече-

ром. Пришлось спать на вокзальном полу, а в пять утра выгнали на холод — уборка! Поехала с первым трамваем за город и больше часа искала нужный барак, а когда нашла и увидела на дверях надпись, что тут живёт Ксения Эдуардовна Толочинова, то чуть не заплакала от радости. Ах, как было чудесно хорошо видеть милое, дружеское лицо, сидеть в тёплой уютной комнате, ждать, когда испекутся пирожки с горохом, вымыться горячей водой, переодеться в чистое и спать на мягкой раскладушке! А говорить с другом, своим старым милым другом! Ах, как всё это было хорошо, но... надо ехать, и на третий день я уехала. Я боялась распутицы и что не попаду в село за восемьдесят километров от станции, и так оно и вышло. Когда я добралась до Зуевки, то была такая распутица, что выехать уже было ни на чём невозможно. Месяц, до 15 мая, я жила в этой Зуевке, голодала не меньше, а жила хуже, чем в лагере. Там был заработанный кусок хлеба и баланда, а тут в продовольственной организации мне дали на двенадцать дней по 350 грамм хлеба, и то вымолила со слезами, а потом променяла телогрейку и одеяло и жутко голодала, а направление было в то самое село, в которое не доехать и не дойти! Ох, и помучилась я в этой Зуевке! Но ведь всё когда-нибудь кончается, и должна была идти первая машина, и я на неё устроилась за 200 рублей и две маленьких водки на месте. Позвонила на последние гроши в Богородское друзьям, чтобы приготовили оплату.

Шофёр от жадности набрал столько людей и груза, что машина сломалась в десяти километрах от города. Восемь часов чинили машину, а мы гуляли по лесу. Все прелестно, но мне-то есть нечего, и в животе ужасно пусто. К вечеру поехали, и я тут у одного военного попросила дать мне граммов 200 хлеба (у него было несколько буханок хлеба) с тем, что я отдам. Он поглядел на меня и отрезал шматочек грамм на 300, и протянул мне со словами: "Возвращать не надо". Ехали мы чуть не двое суток, но всё же доехали! Прожила год в этом селе и когда окрепла, то работала в Промкомбинате. По окончании войны в июне 1945 года выехала с первой партией возвращавшихся эвакуированных в город Боровичи Новгородской области, где прожила девятнадцать лет, так как не имела права жить в Ленинграде.

Судимость с меня была снята в 1956 году по моей просьбе в Верховный Совет, но это мне ничего не давало. Подала на реабили-

ПОЛОЖЕНИЕ О «КНИЖКЕ УДАРНИКА»

4. «Книжка ударника» выдается тому, кто:
- а) систематически выполняет не менее 110% производственного задания при высоком качестве работы;
 - б) точно соблюдает установленный режим и правила трудовой дисциплины лагеря или ИТК;
 - в) активно участвует в культурно-политических мероприятиях лагеря или колонии и содействует трудовому перевоспитанию заключенных;
 - г) бережно относится к общепромышленно, инструментам и другому государственному имуществу.
- д) получает улучшение производства своими рационализаторскими предложениями и изобретениями.

е) активно борется со всякими попытками классовых врагов вредить и мешать производству и перевоспитанию заключенных.

2. Выдача «книжки ударника» производится по постановлению Штаба Трудового Соревнования и Ударничества лагпразделения или колонии НКВД при соблюдении заключенными перечисленных в пункте 1-м условий, по истечении не менее трехмесячного пребывания в лагере, колонии НКВД.

3. «Книжка ударника» действительна только в пределах лагеря или колонии НКВД.

4. Без своевременного заполнения всех требуемых сведений в отчеток — «книжки ударника» недействительна.

5. Передача «книжки ударника» другим лицам воспрещается.

«Самое замечательное и возмездное состоит в том, что оно прокладывает канавку и превращает труд из тяжелого и тяжелого бремена, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и героизма» (СТАЛИН).

(Правила лагеря, колонии)

КНИЖКА УДАРНИКА

(Действительна только в пределах лагеря, колонии без права передачи)

Выдана ГУЛАГ'а НКВД

«Кто не работает — тот не ест»

КНИЖКА УДАРНИКА № 972962

Фамилия Дурнев
Имя Мел Отчество Евгеньевич
Год рождения 1890 г. Статья СОЗ
Срок 3 г. С этого времени ударник 7/III-38
Дата выдачи книжки 10 III-56
И-ж. Культурно-бытовой отдел
И-ж. Культурно-бытовой отдел
Пред Штаба Соревн. и Ударн.

ПРАВА СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ.

1. Ударникам в лагерях или ИТК производится повышенный зачет рабочих дней согласно «Временного положения о зачете рабочих дней», утвержденного Народным Комиссаром Внутренних Дел Союза ССР.
2. Заключенные, работающие по-стахановски в лагерях и ИТК, получают зачеты рабочих дней на I категорию выше, по сравнению с той, которую они получали до перехода на стахановские методы.
3. Заключенные, работающие по-стахановски, пользуются преимущественными льготами:
 - а) размещаются в лучших, наиболее благоустроенных помещениях с косячной системой;
 - б) снабжаются полным комплектом постельных принадлежностей и в первую очередь — обмундированием и обувью;
 - в) имеют право на улучшенное питание в стахановской столовой;
 - г) в первую очередь обслуживаются газетами, журналами, периодической литературой;
 - д) правом внеочередного культурно-бытового обслуживания (внеочередное получение посылок, пользование парикмахерской, кино).
 - е) свидание с родственниками разрешается до четырех раз в год.
4. Заключенные ударники и стахановцы после освобождения имеют право на организованное трудоустройство и денежную помощь.

литацию в апреле 1956 года, и в мае 1957 года мне было написано военным прокурором, что вина моя доказана и к отмене приговора оснований нет.

Только после 22-го съезда партии и окончательного разоблачения Сталина в 1962 году по моему вторичному заявлению я была полностью реабилитирована.

Спустя двадцать три года я смогла наконец получить в Ленинграде комнату и была в ней прописана 1 июня 1964 года на постоянное жительство.

Итак, я опять живу в родном и любимом городе.

5 марта 1967 года

Часть и целое

О "Повести" Пастернака, но в основном не о ней

I

Нет! Полно! Тяжелеют веки
 пред вереницею мадонн, -
 и так отрадно, что в аптеке
 есть кисленький пирамидон. -

и только в этом состоятельность искусства. В способности отказаться от самого себя. Но только для того, чтобы снова прийти к себе, и недаром пугающая быстрота, быстрота искусства оборачивается прекрасно-косноязычной речью о немногом, основном, постоянном.

Проживаясь каждый раз, в любом стихотворении, до нитки, до вдоха, не вправе оглядываться: оглянувшись, не увидишь себя и даже части себя, а только незнакомую выжженную дорогу и чужие обрывающиеся следы. А возможность поэзии, напутствующая и подталкивающая, полна весёлой бессмысленности - дон! дон! -

О, завтрак, чок! О, завтрак, чок!
 Позолотись зимой скачок! -

а неожиданности и находки выступают одновременно как неизбежность жизни и творчества -

... что же касается самих судеб, то как я нашёл их в те годы в снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием "Спекторский", начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это - одна жизнь.

Справедливости ради и вопреки кабацкой патетике скажу, что иногда удаётся выскользнуть из стихотворения, отдернуть руку, прежде чем намертво сомкнутся створки и поставить раковину - статуэтку на стол. Поэзия натюр-морта -

La musica, que aterida
En el papel hizo nido,
Alisando su sonido,
Tiene el vuelo del 'atril
A la rama de marfil
Por la cámara en olvido

поэзия, которая, и в самом деле, не облагается житейскими пошлостями -

II

Я жив, но где - я не знаю.
Я жив, но это не я.

Критерий оценки таких стихов не прям и непрост. Поэтому мы часто разводим руками перед Малларме и безоговорочно принимаем Верлена. Но разве "узнать" не равносильно "оценить"? И наоборот? В жизни узнают по голосу, по шагам, по привычкам, к которым относится и образ мыслей, а в поэзии всё это становится пространством - смысловым полем, ограниченным вехами ключевых слов.

И, как у любого живого пространства, у поэзии есть своя атмосфера, свой климат, своя погода - будь то плакучая бездна или бабье лепетанье Парки, - сквозь, которую и прорывается стихотворение к чувствуемому ничто человеческой жизни.

X И ноты ажурной стаей
гнездо на бумаге свили,
сложив звучащие крылья, -
живые, шумные гости
на ветке слоновой кости
пупитра, покрытого пылью. (исп.)

Il pleure dans mon cœur
comme il pleut sur la ville

Импрессионизм по преимуществу: французский? английский? русский? Не сродни ли эмпирическая метафизика Тернера, рождающая морских чудовищ из цветового хаоса, бесам, рождённым снежной метелью?

Но тут же и вечная склонность русской жизни, уже не им-, а экспрессионистическая, проистекающая от слишком большой любви и чрезмерного отращения к жизни. Смерть домового. Свадьба ведьмы. Мелкий бес.

III

В погоде: пастернаковской метели, вьюге "Двенадцати", буре "Бесов" — заметна вся двусмысленность отношений стихов и эпохи. Погода это одновременно максимальное выражение "я" и максимальное проникновение в него эпохи или традиции.

"Повесть" всегда казалась мне самой пастернаковской и, наверное, поэтому вызывала желание её перечитать, переиначить, переделать, оболочнуть всю её единым словом и с этого слова начать новую историю. Да и сама она агрессивна, как двадцатые годы, как "Бубновый валет" —

Пыльные окна серели, до четверти
налитые круглым булыжником.

Но оборотной стороной агрессивности является желание обособиться, утвердиться в смятенной словесной стихии, свойственное в "Повести" Игреку Третьему —

И опять, всякий раз, как кому-нибудь
кажется, будто этому рифмованному
вранью безразлично, лечь ли теменем

^x В слезах моя душа,
под проливнем селенье. (фр.)

или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это — образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчинения земле.

IV

Присущая любому тексту диалектическая альтернатива: либо мысль аккумулируется в образ, либо образ подсказывает мысль.

В барочной Испании, избрав то или иное своим девизом, вооружались друг против друга, культеранизм и концептизм: культ ассоциативного слова и поклонение красоте концепций. Стоящие рядом на полке, спорили жизнями Гонгора и Кеведо, впадая время от времени в ересь убеждений противника и давая в результате сплав силы и куртуазности, подобный шпаге того кавалера, который вращая её над головой своей дамы, спасал её платье от проливного дождя.

Отбрасывая скжетную и образную символику, общеизвестную, а потому не нарочитую, мы найдём то же противостояние между "Облаком" Калидасы и японской классической танкой.

Концептизм характерен для профессионально-философских текстов и рано или поздно становится притчей, переживая, подобно кантовскому голубю, все философские выкладки. Значительность детали прямо противоположна направлению движения текста: если в притче любое новое слово (найденный на дороге перстень) ставит смысл с ног на голову, то в "Повести" лавина образов с трудом находит дорогу к простой, казалось бы, но сложной своей выстраданностью мысли. Единство мысли и образа есть точка пути, в любое мгновение могущего быть продолженным.

Стремящиеся обогнать сами себя агрессивность Пастернака и центростремительная объективность Манделштама продолжают эти линии. Успокаивающе-назывное —

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.—

намного революционнее патриархальной и уже растратившей взрывчатую силу прозы "Повести". Этнос^X Пастернака — земля.

У

Чем сильнее микроскоп, тем больше ошеломляет очевидная способность инфузорий делиться и сливаться. Чем выше степень расчленения действительности, тем мельче единицы текста, меньше длина контекста, тем сильнее и неожиданней способность слов соединяться. Разбитый вдребезги и тщательно перемешанный мир "Повести" стянут в целое магнетической силой движения — такого стремительного, что от него обугливаются перья падающих с деревьев грачей.

Проза эта несёт в себе одно из главных архитектурных противоречий барочного искусства вообще: расчленимость, статичность целого и динамичность части. Точка ставится впопыхах, а чаще держится в уме, но сами границы фраз — образов — намного весомее знаков препинания. И опять их роднит вращение земного времени, дневниковость —

... что же касается самих судеб, то, как я нашёл их в те годы в снегу под деревьями, так они теперь и останутся...

преодоленная окончательно в "Докторе Живаго", где спасительно-динамическим началом стал принцип шкатулок, сквозных пейзажей и повторяющихся судеб.

1976

^X Этнос (гр.). Здесь: исходная точка нравственного.

Ключ от кипарисового ларца

Подлинная, неложная жажда доблести возникает лишь из глубочайшей преданности и уважения к тому, кто подаёт в ней пример; просто хвалить достойных людей, не любя их, — значит почитать их добрую славу, не восхищаясь самой доблестью и не желая подражать ей.

Плутарх

Правду говорить легко и приятно, так же как и слушать её, если она говорится влюблённо. Об Анненском, наверное, нужно говорить "нечётно" в противовес академической чётности, под которой всегда угадываются подтяжки, тёплое бельё и какая-то необъяснимо фальшивая академическая задушевность, памятуя при этом, что оборотная сторона нечётности — молчание. Есть люди, судьба которых — привязанность и близость к ним немногих, и в этом нет ничего странного, если не пытаться объяснить это специально. Импровизировать на Анненском нельзя; он поэт скупой, ведь и в самой идее ларца есть скупость потаённости.

Но, бог с ним. Для человека, когда-то открывшего для себя потаённый ларец, осталось, например, слово "люстр" и манера при чтении ронять на пол полу-менторски, полу-влюблённо рукописные листы, в ларце хранившиеся. Слова становились образами, а образы — словами, и так (а отнюдь не по воле людей, появившихся на сцене) входило в сознание слушающих поэтическое сознание Анненского — жизнь слов, имеющих собственную жизнь. И ни при чём была картавая выпренность самоочевидных рассуждений о "вещизме" и "бытовизме", и об исторической дистанции, и переживания некоего малолетнего Витушишника, по молодости лет перепутавшего солдата с императором. Анненский глядел в зал с портрета беззащитно, и от беззащитности лицо его, как бы пугаясь тяжеловесных похвал, расплывалось в добродушно-глупой улыбке. А ведь он принадлежал, быть может, к тем поэтам, которые должны быть красивы, когда пишут.

Первые минуты, когда само произнесённое вслух имя проводило

по коже гусиным пером, как-то незаметно протекли, и уже не было и следа от жадности пролистать в первый раз ненадолго попавшую в руки книжку. Звучало имя, и эхом отзывалось отчество. Словом, было бы искренне высчитать всё заранее и потребное количество раз произнести в пустом зале: "Иннокентий Фёдорович". И поезд встал. Бубнил с трибуны "своё" поэт, похожий на обезьянку, состоящую для развлечения при высокоучёной компании, но и он чувствовал неловкость. Выходили курить. И спасибо пьяному, затесавшемуся матерщиной дурного анекдота в душный лепной воздух, оттого что скука прорвалась наконец хоть чем-то — неудержимым смехом.

Но Иннокентию Фёдоровичу было уже всё равно.

1979

Старые дурни говорили: нельзя, грех.
А комната рядом, и можно.

Ю.Н.Тынянов "Восковая персона"

... а потом увидел мать Божию и объял
страх и трепет и получил тишину и заме-
тил в себе кротость прибавляется после
всякой святости дорогой жемчуг-смирение.

Григорий Распутин (Из писем)

История - не то, что нам кажется. Город, играющий в Снежную маску, ещё не открыл существования в себе котов и кошек. Он же для города был слишком грязен (грязью подноготной), и его осудили молчанием. Но он был здесь, как боль, как детективное томление, и город был ему подвластен, не имея о том ни малейшего понятия, хотя так ли уж далеко от Гороховой до того благословенного места, где жили поэты. А снег на весь город был один.

Для современников важны мера и грань. Мера и грань ослепляют потомков. (Современников ослеплять не надо, их и так слепит иллюзия близости и возможности: чашка чаю, подёрнутого дымчатой папиной). История сказочна; объяснимы истории, а потому и сам он, бывший историей, любил разглядывать себя, касаясь, скажем, ноги или руки и как бы говоря при этом: "Рука... Живая..."

Каждый писал о нём по-своему, дипломаты - дипломатично, духовные лица - негодуя или благоговей (но всегда с обмиранием), публицисты - ничего не понимая, а полицейские - холодно, с равнодушием библиотекаря. Но он-то был один: и добро, и зло, и всё-таки зло, потому что оно было ему роднее. Сил ему хватило, но, конечно, дёргалось, не стоялось на месте, и весь он был как на ниточках, - так что к нему нельзя было относиться серьёзно, и это было самое страшное.

Аскеты ничего не понимали, но он входил к ним и делал одну очень простую вещь: говорил, что тело и есть единственная одежда, и тело становилось одеждой так же естественно, как в своё время *Имго Dei* * вписалось в человеческое лицо. А он, хоть и пил водку,

* Человек Божий (лат.)

а ещё больше вино, но был замешан на валерьянке, валерьяновой мистике, и за это его не любили любимые им цыгане.

Довериться — в этом лечение. А довериться лучше всего бесстрастной старческой руке, обморочному аптечному запаху; до отвращения полно. До грязи под ногтями. И искать чудо в поте лица.

... Стыд, куда от него денешься. Разве кошкой, в угол — беспомощно шипеть и щериться (от того, что грязен, от того, что мешком висят на задку засаленные штаны), не понимая, что это — твоё раз и навсегда: для мамы с папой, миленьких, и для покровских, сомневающих, хватит ли ему силы. Он мог быть только чуть лучше или чуть хуже; всё было его, и всё было не его, даже слепое кошачье предчувствие.

Когда его убивали, — трясущиеся, неумелые, тонкогубые, — ему удалось — таки испугать до самозабвения одного. (Истерика под хладнокровием, значит, хладнокровие напускное). Удалось. Потому — страшнее, когда оживают вещи, не люди...

Тири забыли. Белецкий бы не забыл...

А он жил, обминая жизнь по своему образу и подобию. Для каждого был тем, в чём каждый не хотел себе признаться, то есть желаемым. А если чувствовал в себе что-то там, на глубине, — делал, зная, что каждая болезнь чем-то да кончится. И это делало его свободным настолько, что его считали за философа... Из всех знаков он предпочитал знак равенства.

Но даже среди всех окружающих лиц он был лицом. Новым лицом, новым человеком. Он был первый человек с новым условием: он мог оправдать всё, что ему пришлось пережить, и оттого верилось, что он в силах оправдать заодно и любого, из тех, на ком останавливались его мёртвые волчьи глаза. А всё потому, что для него уже не было себя и судьбы, а была своя жизнь.

Вообще он любил бывать сам по себе. Лазеек за собой не оставлял, а, когда лезли, пыжился и был полноправно-мелок. Ему было можно всё, ведь он жил в смежной комнате с незапертой дверью, и ему постоянно открывались неудобные картины: сладость валерианового духа и потные ладони детского любопытства. Он самим собой не оставлял права на другую жизнь. Всё было его...

Его стихом были намёки. А в России намёк запросто оборачивался эпосом, и эпос этот ведёт к той точке, когда душа оглушена, а дух подстреленно падает. И точка та сладка. Да. И сладка получен-

ная тишина.

Не всегда верно действие по поговорке: чему быть, того не миновать. Нелепо, например, торопить смерть. Но это мудрая нелепость. Есть нелепости пошлые — прижизненные. Скажем, баня — единение телом. Другой истории это, быть может, оказалось бы не к лицу, и мы, не раздумывая, стряхнули бы эту и многие другие хрестоматийные детали, как налипшие табачные крошки. Но он был пошлостью человека, а завораживал, как обрыв. Чувства его были велики, и он не умел с ними справиться, от того и плевался, и обессилевал, а под пером растопыривались злые и нелепые в своей наглядности рисунки. А настойчивым он никогда не был, потому что шли сами. Он только ждал, стоя в тусклом тепле прихожей, прильнув к двери, и дышал, ожидая звонка.

Дом был тяжёлый, зазывающий, пристальный; с торчащим круглым фонарём; и таким он был бы и без него, без нового жильца. Дом был как кличка. Как скорлупа. А без этого жилец не мог, ему была необходима несоразмерность, зубчатые хитросплетения темниц, лабиринты, закоулки, зеркала, мрамор и медлительно ползущий по мрамору бархат. Чтобы под белым покровом грудился монумент особе. *AND, PLEASE, NO HURRY **

... Самый неотступный наш преследователь, тот, что во сне, и когда ноги свинцовые, и не хватает сил, а это тупик, где всё существует тускло и нерасчленимо, в виде донного мелькания. Из этих фигур, жёстких, как треугольник, можно лепить всё, что угодно.

Был он и красив. Стоял один, простоволосый, под небом. Тоненький, краткий. Тянулся вверх, а воздух трепал лёгкую серую чёлку. И хоть этого никто не видел, и пишет об этом иеромонах — отступник и клеветник (ложка мёда, понятно), но почему не быть этому на самом деле, если это возможно, ну хотя бы как ложка мёда.

Нежно жалил снег. И снова, как в начале, тело стало одеждой, захотелось в баню; словом, появились дела и желания, и появилось их ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы в полпервого ночи крытое авто повезло его в те края, где каждый переулочек зашпаклёван Исаакием.

1980

^x И. пожалуйста, никакой спешки (англ.).

Открытие Лептербурга
/историческая тема у обериутов/

Историками давно отмечен факт почти одновременного появления на свет таких новаторских трудов, как первый том "Заката Европы" Освальда Шпенглера /1918/ и "Осени средневековья" Йохана Хёйзинги /1919/. Но литературоведы до сих пор ещё не обратили внимания на подобную близость трёх сочинений троих обериутов, авангардистски трактующих историческую тему.

Это "Минин и Пожарский" Александра Введенского /1926/, "Комедия города Петербурга" даниила Хармса/1926-1927/ и "Козлиная песнь" Константина Вагинова /1927-1928/. В этих произведениях, написанных десять лет спустя после катастрофы, пользуясь относительным спокойствием Левиафана, авторы пытаются обозреть пространство и время с тем, чтобы определить, куда на этот раз завела их беспутная Клио. В этой краткой паузе между гражданской войной и войной с согражданами они занимаются тем, что можно определить словами их современника и собрата по цеху Игоря Бахтерева, произнесёнными спустя ещё одно десятилетие, в 1938 году:

Я понял вдруг, что много лет
истории ловлю скелет.*

Этот неуловимый скелет истории наши поэты и пытаются познать ещё в Петербурге двадцатых годов, когда впервые сбылось пророчество Евдокии Лопухиной: "Петербургу быть пусту".

Вот свидетельство Владислава Ходасевича: "... именно в эту пору /1920-1922 годы - В.Х./ сам Петербург стал необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Они /люди - В.Х./ не могли не видеть до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье.

... Петербург стал величественен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы.** Петербург обезлюдел /к тому времени в нём насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей/, по улицам перестали

* "Искусство Ленинграда", 1990, №2, стр.90.

** Ср.: у Анатолия Мариенгофа прочно противоположный эффект, вызванный теми же действиями в Москве /"Циники", 1928/ - "на Кузнецком мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прищавные, покрытые лишайными стенами". - Мариенгоф А. Роман без вранья. Циники. 20й век... Л., 1988, стр.129.

ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль, и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрёл ничего нового, но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота временная, минутная. За ней следует страшное безобразие распада. Но в созерцании её есть невыразимое щемлящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначавшийся распад ещё был прекрасен, и трава, кое-где пробивающаяся сквозь трещины тротуаров, ещё не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плод украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величественен, как ночной. Но ночам в Александровском сквере и на мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей".*

Эстетический оксюморон - прекрасное распада - выведен Ходасевичем из наблюдений над агонией брошенной столицы. Этот мотив был одним из ведущих в "Козлиной песне". Так в главе XIX автор озирает современность, в которой философствующий управдом с багровым носом соседствует со спящим, как на ковре, на собственной блевотине человеком. Здесь автор не может не воскликнуть, вспоминая минувшее: "А какой город был, какой чистый, какой праздничный! Почти не было людей. Колонны одами взлетали к стадам облаков, везде пахло травой и мятой. Во дворах щипали траву козы, бегали кролики, пели петухи".**

Эта загробная пастораль с козами, петухами и соловьями времён гражданской войны обрела в "Комедии города Петербурга" Хармса окончательный адрес: один из персонажей на вопрос о местонахождении героини отвечает: "Вы в городе Лептербурге". Владимир Эрль в комментариях настаивает, что это не описка, так как Петербург - Лептербург - Ленинград в этой меннилее и есть город Мёртвых.***

* Владислав Ходасевич. Дом искусств. "Сгонёк", 1989, №13, стр. 12.

** Константин Вагинов. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бомбажада. М., 1989, стр. 113.

Ср. у Мандельштама в статье "Слово и культура" /1921/: "Трава на петербургских улицах - первые побеги девственного леса, который покрывает место современных городов." - "Слово и культура", М., 1987, стр. 39.

*** Даниил Хармс. Собрание произведений. Книга первая. Бремен, 1978, стр. 192

Действительно, беспрецедентная катастрофа столицы, построенной назло, роковым образом трансформировала время. Это почти физически воспринимаемое современниками завихрение истории "Музыка" - у Елока, "Взвихренная Русь" - у Ремизова, "Земля дыбом" - у Мейерхольда/ привело к созданию нового специфического хронотопа литературы двадцатых годов, в котором история либо принципиально заузна, либо неизбежно парадоксальна. Художникам теперь приходится иметь дело только с иррациональными величинами, хлебниковские "Доски Судьбы" здесь бессильны. Цедаром наблюдаемый общий феномен Хармс и Загинов с олимпийским безразличием облачают как в комическую, так и в трагическую упаковку названий. В этом пост-революционном антимире жителю Лепетбурга, обогащённому опытом "жизни после жизни" смешна даже смерть.

Вот фрагмент беседы неизвестного поэта с Тентёлкиным из "Козлиной песни" Вагинова: "Не стоит философствовать, - уклонился неизвестный поэт, - мы давно - я искусственно, вы литературно - пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живёт не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застаёт дома, он только промочит: ещё раз с тобой встретился, - и ему станет смешно".*

Такого рода стоицизм обнаруживается в одном из дошедших до нас фрагментов "Комедии" Хармса. Гамлетовские факельщики, выносящие тело часового Эммануила Крюгера, убитого неизвестной женщиной, бодро поют:

Умер Крюгер как полено
Ты не плачь и не стони
вон торчит его колено
между дырок простыни

Он лежит и не вздыхает
он и фыркает и рад.
В небе лампа потухает
освещая Ленинград.**

фыркающая и радующаяся покойник и город, освещаемый потухающей лампой, невольно воспринимаются как антиномия трагическому умирающему Петрополю Мандельштама. На страшной высоте, где горят

* Константин Загинов, стр.19.

** Хармс, стр.103.

земные сны, и разворачивается перед нами запредельный дубок - "Бобок" "Комедии" Хармса.* В дошедших до нас фрагментах Пётр I беседует с Николаем II, Фамусов со Щепкиным, комсомолец Вертунов с князем Мещерским, также в ход действия вмешиваются разбойники, офицеры, человек, похожий на колбасу, пугалка, чудовище, зверь, Катенька и Мария, Кирилл Давыдович Обернибесов.

Вообще, установка на реальных героев истории характерна для авангардистской драматургии. Так, Игорь Терентьев ещё в 1931 году сделал героем своей трагедии - Гордано Бруно. Использование реальных героев истории, имена которых известны каждому школьнику, позволяет авторам этих драматических сочинений демонстрировать несовпадение общепринятого толкования хода исторического времени с их интуицией. Снегурочка Островского, отправленная в полицейский участок Алебниковым в начале XX века, и общая теория относительности Эйнштейна взаимно дополняют друг друга, как это несколько позже выяснил Нильс Бор. Жёсткая детерминированность драматической поэтики и великолепие классицистской вселенной остались в прошлом веке.

В странном мире обэриутской драмы комсомолец Вертунов может кричать с берегов Невы Щепкину, подбегающему к Москве: "Ваня, Ваня, торопись! Ещё немного. Перепрыгни канавку!"** Так в бесконечной эпопее Кастанеды маги контролируют друг друга в практикуемых ими совместных сновидениях. Непредсказуемость результата на первый взгляд вполне рациональных действий возведена в абсолют. Фамусов деловито инструктирует Обернибесова, летящего в Швейцарию: "Смотри как следует за элеронами. Ниже трёхсот метров не спускайся. Когда прилетишь, спроси, куда попал."***

Этим вопросом о том, где же они всё-таки находятся, герои задаются постоянно. Например, Мария из "Комедии" формулирует его так:

* То, что это определение не случайно, может быть подтверждено фрагментом из статьи "De Profundis" философа Семёна Франка, в 1921 году высланного из Советской России: "Все нынешние мелкие, часто коммарино-нелепые события нашей жизни, вся эта то бесплоднословесно то плодющая лишь кровь и разрушение бессмысленная возня всяких "совдепов" и "исполкомов", все эти хаотические обрывки речей, мыслей и действий, сохранившихся от некогда могучей русской государственности и культуры, после бешеной пляски революционных привидений, как последние дотлевающие огоньки после дьявольского шабаша, разве это всё не тот же "бобок"? - "Родник", 1990, №5, стр.53.

** Даниил Хармс, стр.88.

*** Там же, стр. 94.

ко мне пришла теперь идея
она проста: скажите где я? *

Таким образом вводится тема духовного и социального скитальчества - центральная для литературы нашего века.

В "Минине и Пожарском" Введенского в конце первого действия, названного автором "Петров в штатском платье", согласно ремарке, "Поезд отходит". Действие второе "Петров в военном платье" открывается такой ремаркой: "Уральская местность. Ад." Таким образом, выясняется конечная точка маршрута героев, совпадающая с последним маршрутом царской семьи.

Если в "Козлиной песни" место действия ограничено пределами Ленинграда, его пригородов и некоего южного города, а в дошедших до нас фрагментах "Комедии города Петербурга" фигурируют ещё Москва и Швейцария, то в "Минине и Пожарском" истории с географией выступают воистину субъектом поэтики Введенского.

Топонимический ареал внушителен: реки - Днепр, Печора, Припять, Урал-река, Дон; города - Рига, Ржев, Галич, Саратов; страны и край - Индия, Сион, Китай, край бухарестский, край Ливан. Всего в этом действии занято около пятидесяти персонажей, среди них - исторические - князь Меньшиков, Минин, Пожарский, Нерон, Рабиндранат Тагор, Борис Годунов. Если в "Комедии" Хармс позаимствовал у Грибоедова мамусова, а из истории театра - Щепкина, то Введенский потревожил "Ревизора", введя в ткань действия гоголевских персонажей. Таким образом, "тема театра на сцене "жизни"" /пользуясь определением исследовательницы творчества Загинова Татьяны Никольской/ так или иначе входит в состав рассматриваемых здесь сочинений. Любопытно и то, что "Ревизор" и "Горе уму", поставленные Мейерхольдом и Терентьевым, составили целую эпоху в театре XX века. Вживляя в ткань своих произведений героев классики /а это многократно проделывал ещё Салтыков-Щедрин/ авторы лишним раз подчеркивают специфичность описываемого или мира. Так, вводит в свою пьесу абсолютно немотивированное явление питее, якобы из "Ревизора", где, согласно ремарке, городничий, Хлестаков и Марья Антоновна /с флейтой/ разговаривают на уральской горке, Введенским заставляет читателя испытать примерно то же, что и Кастанеда, когда дон Хуан особым приёмом бьёт его между лопаток и тем самым вводит в изменённое состояние сознания.

* Даниил Хармс, стр.121.



Соответствующие опыты Рембо практикует и неизвестный поэт в "Козлиной песни", когда говорит о "необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких шумов и визгов, для нахождения мелодии мира."^{*} Спустя несколько строк после этих теоретических выкладок неизвестный поэт делится с читателями практическими наблюдениями, сделанными во время этих погружений: "И бежит он снова, шесть лет тому назад /т.е. это опять двадцатый год - Б.И./, с опасностью для жизни, по снежному покрову Невы, ибо должен наблюдать ад, и видит он, как ночью выходят когорты совершенно белых людей.

Ещё на западе земное солнце светит...- скажет потом одна поэтесса, но он твердо знает, что никогда старое солнце не засветит, что дважды невозможно войти в один и тот же поток, что начинается новый круг над двухтысячелетним кругом..."^{**}

Итак, куда бы ни отправились герои произведений трёх наших поэтов - в Швейцарию, на уральскую горку или в южный город, всё равно все они снова окажутся в городе Летербурге. Да, в новооткрытом обэриутами хронотопе все дороги ведут в Летербург, в беспредельно искривленное пространство зауми, освещённой звездой бессмыслицы. Здесь предметами поэтической рефлексии становятся, по определению Введенского, Время, Бог и Смерть. Эта почти монашеская номенклатура интересов в сочетании с бытовыми реалиями как бы выворачивает наизнанку тёплое гнездо человеческой семантики и опрокидывает его в бездну.

Обэриуты используют для создания хронотопа Летербурга приёмы, выработанные ещё их предшественниками будетлянами. Подробный разбор этого тезиса за недостатком места мы опускаем. Но что интересно, при сопоставлении реальной истории катастрофы с её абсурдистской моделью, неизбежно приходишь к выводу, что целый ряд обслуживающих её идеологических клише идентичен эстетическим рецептам русского авангарда.

Так концепция м и р с к о н ц а - строительство сюжета

^{*} Константин Вагинов, стр.95.

^{**} Там же, стр.96.

от конца или сознательная перестановка логической последовательности событий - соответствует фундаментальному клише коммунизма, при котором вся история рассматривается под углом утопического хэппи-энда и реальная жизнь человека с младенчества корректируется этим финальным фантомом.

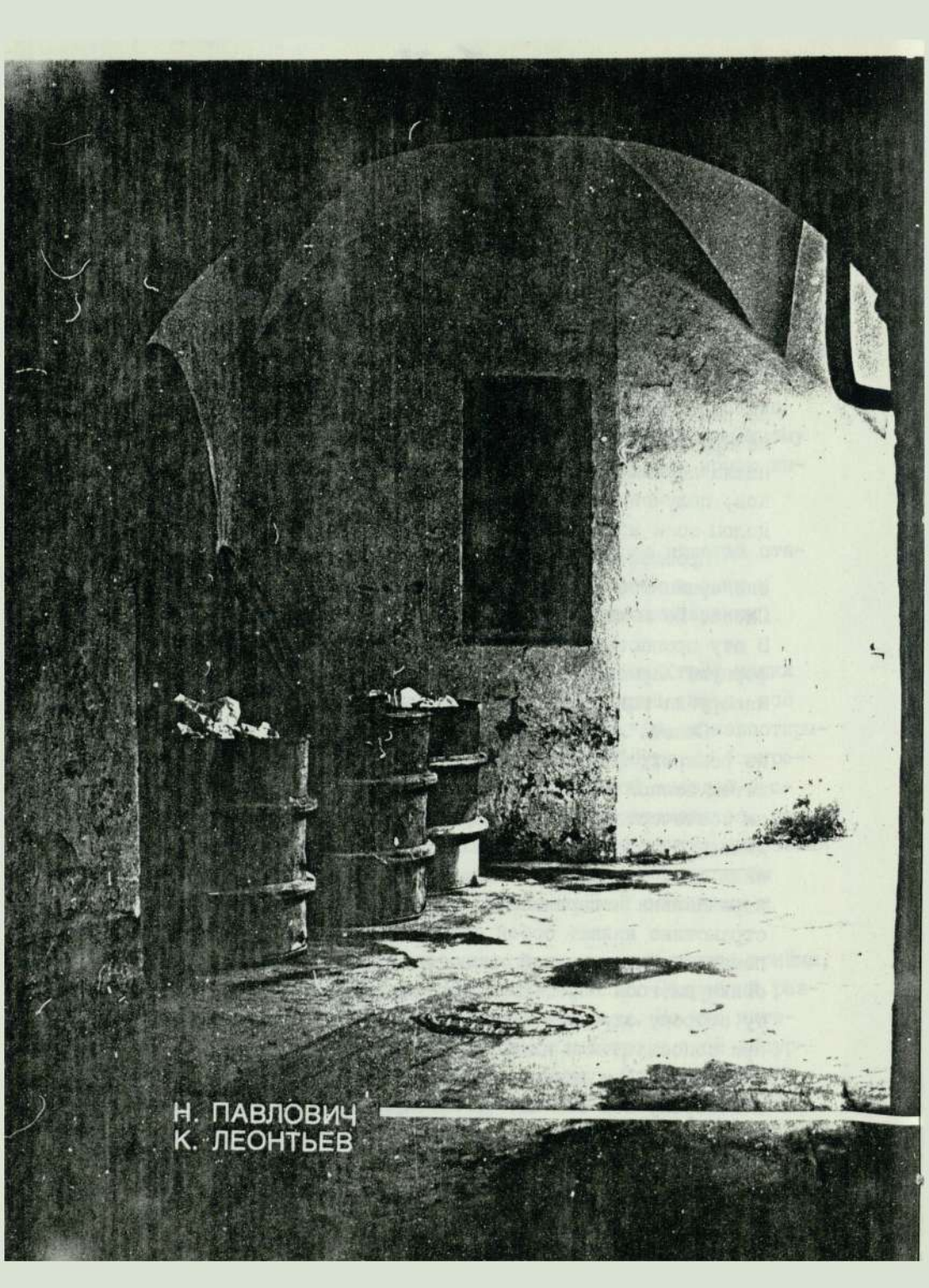
С д в и г о л о г и я - когда из двух рядом стоящих слов, посредством слияния их конца и начала, извлекается третье /кроме Кручёных этим приёмом не побрезговал и генетический код/ - нашла верных адептов в лице толкователей трудов основоположников, получение любого смысла из одной и той же цитаты стало делом всей их жизни.

Прослеженная здесь зеркальность словесного и социального экспериментов подтверждает евангельскую истину о первородстве Слова. Но между преобразователями слов и этносов - пропасть. В эту пропасть и рухнула история, нашедшая своё воплощение в формуле Хармса, созданной ещё в январе 1928 года, - "плач мясорубка вскачь".*

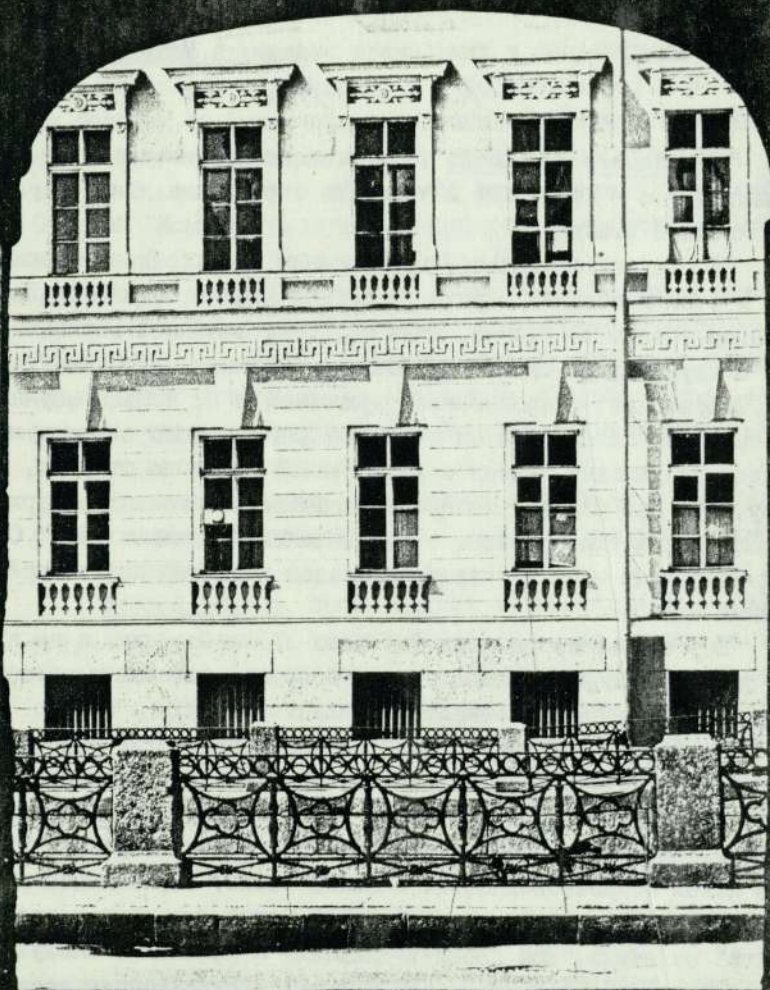
Сюжет "Минина и Пожарского", лаконично передаваемый одной из ремарок: "Черти кашу из кружек варят", - навсегда стал сюжетом земной жизни трёх поэтов. То, что случилось с миллионами их соотечественников, вдруг лишённых насиженного угла, они проделали с собственным сознанием. Посягнув на понятия, они изменили его. Их индивидуальная одиссея в ментальных пространствах параллельна исторической одиссее России в светлое будущее. Это странствие являет собой пример благородной поэтической аскезы, помогающей конкретной личности спасти свою душу среди мытарств свихнувшегося мира. Эвристическая ценность этих путешествий по ту сторону здравого смысла становится особенно значительной при сопоставлении их с бесконечным мексиканским вояжем Карлоса Кастанеды. Нам кажется, что состояние изменённого сознания, к которому все эти авторы приходят совершенно разными методами, приводит их к одной точке пространства, название которой вынесено в заголовок нашего сообщения.

В наши смутные дни опыт этих авторов драгоценен.

* Даниил Хармс, стр.57.



Н. ПАВЛОВИЧ
К. ЛЕОНТЬЕВ



ЭТАЖЕРКА

НА БЕРЕГУ БОЖЬЕЙ РЪКИ

Людмила Ильонина

"Дух дышит, где хочет" – эти евангельские слова не раз вспоминались нам в дождливые и холодные апрельские дни в Бергамо ("Солнечная Италия!")

Да, мы, действительно, чувствовали присутствие великих оптинцев в этом небольшом городе на севере Италии, где собрались паломники-ученые из России, Франции, США, Западной Германии, Польши. Международный симпозиум "Оптина Пустынь и русская культура. П.А.Флоренский" стал событием духовным, а не только научным и потому, что закончился он необычно для научного симпозиума – пением пасхальных часов и заупокойной литии по старцам, и потому, что присутствие теперешнегонаместника монастыря архимандрита Евлогия и его рассказы о сегодняшних "трудах и днях" Оптиной придавали всем звучавшим докладам характер практических духовных проблем.

Пересказывать доклады (их было 37) невозможно и не нужно, но вот основные и злободневные вопросы, которые в каждом из них так или иначе разрешались, назвать стоит.

Первый – традиционно мучительный для России – вопрос – о соотношении светской и духовной, церковной культуры. Ставший теперь модным журналистский образ благостного пребывания за стенами Оптиной Великих русских классиков в гостях у Великих старцев далек от достоверности. Главный тезис, звучавший в разных докладах, таков: старцы проводили светскую культуру через "тесные врата" аскетике. При любви и внимании к человеку, заблуждения его всегда были обличаемы. Недаром о художественном творчестве писал выходец из Оптиной еп. Игнатий Брянчанинов: "Если же человек прежде очищения Истинного будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом более или менее. Всякий взгляни в себя и поверь сердечными опытами слова мои! – Они точны и справедливы, скопированы с самой природы".

Вот это "смешение правильных и неправильных мыслей" отмечалось оптинцами и у Гоголя, и у Достоевского, и у Толстого, и (в беседах ст. Варсонофия) у Пушкина и Лермонтова. Хотя оптинцы, конечно, всегда шли навстречу духовным порывам: так, например, в 1920-е гг. всерьез обсуждался ими проект создания рядом с Оптиной "Коммуны пастухов Всемирного искусства", в которую входили Л. Бруни, Татлин, Тырса.

Тогда же (в 1921 г.) из уст старца Нектария его духовная дочь - Н. А. Павлович услышала свидетельство о загробной участи "демонического поэта XX века" А. Блока: "Передай его матери, пусть будет благонадежна. Александр в раю". Слова, обозначающие то, что человеческая судьба и трагедия могут искупить грехи художественного творчества.

Итак, необходимо утверждать: в Оптиной шёл диалог светской и церковной культуры, и не во всем участники его совпадали друг с другом.

Второй вопрос, поставленный на конференции, - это вопрос о традиции. Оптина Пустынь возникла не на пустом месте. В ней, по словам П. А. Флоренского, "как в фокусе собралась святыня народная". Духовная традиция старчества, связанная с практикой "умного делания", прошла через века русской истории. В этой традиции и преп. Сергей Радонежский, и преп. Нил Сорский, и св. Пансий Величковский. От последнего пришла в Оптину одна из поучительных для наших дней традиций - переписывание святоотеческих книг. Оптина еще при старце Макарии создала свое издательство, в котором печатались творения Святых отцов, а впоследствии и материалы из архива самого монастыря, но на протяжении более столетия братья обители переписывала от руки для своих духовных нужд уже изданные книги. Конечно, это не были средневековые скриптории, но каждый для себя считал нужным такой труд.

Третий вопрос конференции, который синтезировал первые два, - вопрос о духовных уроках Оптиной Пустыни.

Предсказание о том, что в последние времена иссякнут старцы и спасаться будут по книгам, сбывается в наши дни. Оптинцы

оставили нам завет — какие книги они считали ступенями ко спасению (то, что они издали в первую очередь). Это — авва Дорофей, Иоанн Лествичник, пр. Исаак Сирин (именно в такой последовательности, по мере духовного возрастания!); а потом уже письма старцев — пр. Амвросия Оптинского, ст. Макария, ст. Леониды, ст. Анатолия.

Из этих писем мы получаем главное духовное поучение старцев: внимание к конкретной жизни, к конкретному человеку и его судьбе, умение твердо стоять на земле, никогда не забывая о Небе, умение в каждом событии жизни видеть Промысел Божий. Свидетельство такого взгляда на мир — молитва Оптинских Старцев на каждый день ("Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне грядущий день..."), чтением которой закончилась вся конференция.

Заключению предшествовали доклады об о. Павле Флоренском. Эта часть заседаний была особенно оживленной и дискуссионной. Говорилось о том, что не нужно создавать благочестивую схему личности о. Павла. Нужно говорить об антиномичности, которая лежит не только в основе его творчества, но и в основе его характера. Антиномичностью объясняется приверженность о. Павла символистским кругам интеллигенции — с одной стороны, и "московским славянофилам" — с другой; строгой догматической церковной вере — с одной стороны, и индивидуальной истине — с другой, отрицанию отпавшей от культа секулярной культуры — с одной стороны, и разнообразной культурной деятельности — с другой.

Главное, о чём нельзя забывать при рассмотрении трудов Флоренского, это — их философский и художественный, а не богословский характер (сам он на этом настаивал!). При таком подходе отпадают возможные подозрения в "буфонах эресей" в его книгах, снимаются упреки в неканоничности, эстетизированности. Неслучайно почти все доклады касались взаимосвязей эпохи: Флоренский и Бердяев, Флоренский и Франк, Флоренский и Штобников, Флоренский и Вяч. Иванов, Флоренский и Л. Толстой.

Но была сделана попытка и выйти за границы вач.ХХ века в докладе "П.А.Флоренский и преп.Сергий Радонежский, что вызвало спор о том, можно ли сопоставлять философа и святого подвижника. Ответом (не на уровне научном, а духовном) было сообщение архим. Иннокентия о том, что, когда в 1920-е гг. Троице-Сергиева Лавра была закрыта и мощи Преподобного вскрыты, именно у о.Павла в доме хранилась честная глава подвижника, которому он посвятил одни из самых проникновенных своих строк ("Троице-Сергиева Лавра и Россия").

Разговором о духовных соответствиях, к которым так внимательно были оптинские старцы, закончился этот день. Он оказался (22.IV) днем смерти последнего старца монастыря схииеромандрита Севастьяна (Карагандинского).

В приложении к краткому пересказу событий 4 дней в Бергамо впервые в "Сумерках" мы печатаем стихи Н.А.Павлович, об Оптиной. Н.А.Павлович мы обязаны сохранением Оптиной в 1930-е-40-е гг.



Надежда Павлович

/1895 - 1979/

Оптина

I.

Ты - Оптина! Из сумрака лесного,
Из сумрака сознания моего,
Благословенная, ты выступаешь снова,
Вся - белизна, и свет, и торжество.
И я сквозь слезы бережно узнаю
Икону на столбе и старый твой паром.
Уже лепечет мне струя речная,
Уже встает за лесом отчий дом.

II.

Твой колокол - он цел, я слышу: над лугами
Плывет его спокойный, важный гул,
И ширится, и падает кругами,
Так полно он, так медно он вздохнул.
Слонец и схимник - славный твой звонарь,
Теперь он нищим бродит по округе;
Колокола поют в дожде и вьюге,
И он во сне еще звонит, как встарь.*

Открыты храмы. Узкая дорога
К той паперти высокой привела
Меня и мой народ, мой нищий, мой убогий;
Едва дошли мы - ноша тяжела.

Не блещет храм убранством драгоценным,
И не видать прославленных мощей;
Здесь даже мало теплится свечей;
Все просто и монашески смиренно.

* Схимонах Тихон

И настоятель служит не спеша,
 Как старый голубь, кроток, бел и важен,
 Напев пустынный скромн и протяжен,
 Но в пеньи изливается душа.

Когда гостей, нежданнх, незваннх,
 Шумливые умолкнут голоса,
 Когда легла в полях благоуханнх
 Тяжелая прозрачная роса —

Весь лес стал церковью, синее и курится,
 Уходят в небо мощные стволы,
 И белочка на ветке шевелится,
 Синица свистит из зеленой мглы.

Сама земля намолена годами;
 Она хранит священный прах могил.
 Вот по тропинке мелкими шагами
 Проходит старец: немощен и хил,
 Но блещет лик незримыми лучами.

И в льбиной мощи старец Леонид
 Кротчайший к слабым, перед сильным строгий,
 С учениками по лесной дороге
 Идет проведать новозданный скит.

Макарий с книгой, благостный Антоний
 И с посохом тяжелым Моисей,
 Встают вы под краминой ветвей,
 Написаны искусно на иконе,
 Иконе леса, неба и лучей.



Ш.

Ромовент скитские ворота,
И белает хибарка твоя.
Стерлась краски и позолота;
С черным враном пророк Илия.

И другие отцы пустынные
Предстоят на святых вратах;
Лица узкие, бороды длинные
Или крест, или свиток в руках.

И когда отойдет повечерье;
Пред Казанскою, летним днем,
Мы придем к этой маленькой двери,
К этой бедной хибарке придем.

Послушася, и нам откроют,
И охватит тьма тьма...
Дорогое все, дорогое,
За выкину ты порогом спить?!

Пред иконой "Достойно" лампада
Затлеивает алым огнем.
После жаркого дня — прохлада:
После стужности — родимый дом.

Не одна я стою пред тобою:
Отовсюду с Русской земли
Кля с молитвою, или с сумою
И к хибарке заветной пришли.

Из Тамбова, из дальней Сибири,
Из Рязани и Соловков, —
В необъятной русской шире
Стишен шепест и шум вагов.

Ты, румяная, в черном платочке,
Ты, печальная, с бледным лицом...
Будь мне матерью, будь мне дочкой,
Будь сестрой мне, — мы вместе идем.

Ты вчера схоронила сына,
Ты между ней осталась вдовой...
А моя-то, моя кручина —
Никогда, ничего вполонину
В ненабичной борьбе с судьбой.

Я листок рождимого древа,
Заленеет высокий ствол,
И идут со мной жоны и девы
Из далеких весей и сел.

Вся страна моя плачет, и дичает,
И вздыхает здесь горячо,
И плечо мое чутко слышит
Прикоснувшиеся плечо.

IV.

В высокой шапочке на сединах
 С гранатовыми четками в руках,
 И в старенькой своей епитрахили —
 Его я вижу через столько лет,
 Как юности незаходимый свет!
 Он не забыл — лишь мы его забыли[‡].

Чуть сторбившись, он медленно идет,
 Благословляя плачущий народ.
 Встань перед ним, как прежде, на колени.
 Он, слабый, старый, бережно понес
 Весь этот груз грехов, тоски и слез
 По этим старым вытертым ступеням.

Так шел он в келью, — дальше шел в тюрьму,
 Так уходил в бесславное изгнание,
 У злого мужика на послушаньи,
 И умер у него в чужом дому.

У.

Гаврюша, ты?
 — "Косёк, косёк, здорово!"
 Опять бежит он, плачет и кричит.
 Прозрачный взор из-под бровей суровых,
 Мешок песком и книгами набит.
 Ругается на богомолку чинных
 Или бормочет непонятный вздор,
 А взор все тот же, грозный и невинный,
 В незримое давно ушедший взор.
 И старец привечал его, как брата:
 — "Гаврюша, с каждым днем мне тяжелей!"
 — "А четочки? Ты ими супостата
 Покрепче бей!"

‡ Старец иеромонах Нектарий

VI.

Что ты знаешь о нашем нищем,
 О послушническом пути?
 По холмам он лег, по холмичам,
 Чтобы ноги устали брести.

Там отца моего могила*,
 Высока, широка и светла;
 Недалеко она отступила,
 Отошла от родного села.

Как в ночное поехать ребятам,
 Как с зарею пригнать лошадей —
 Все глядит она глиняным скатом,
 Все маячит она меж ветвей.

Овода, золотые, литые,
 В ясный полдень над нею кружат,
 Заплетаются травы лесные,
 Смолы каплет, и дятлы стучат.

Приминается пыль по дороге
 Налетевшим веселым дождем,
 И целую я холмик пологий,
 Приникаю горячим лицом.

От обиды моей нестерпимой,
 От позорной и злой клеветы
 Не укроешь меня ты, родимый,
 Не захочешь укрыть меня ты.

Словно деревцо, бурям открытое,
 Ты растил меня в грозные дни.
 Вот и бьет меня буря сердитая,
 Рвет зеленые листья мои.

* О. Нектария

Дай мне силы и дай мне терпенье,
 Все увидеть, услышать и жить,
 Дай нести мне земное служенье
 И небесные песни сложить...

Вот они, отошедшие братья,
 В чуть заметном сквозном венце;
 Изорвалось в дороге платье,
 Ни кровинки в усталом лице.

По дорогам-то, по дорогам,
 По острогам-то, по острогам
 Сколько выхожено путей!
 Помолитесь же, ради Бога,
 О душе смятенной моей.

Вот один — рыкевато-русый
 Поглядел, покачал головой,
 Умирал он с молитвой Иисусовой,
 Догорал свечой восковой*.

Широка, прозрачна Пинега,
 Зеленёй ее берега,
 А пески-то белее снега,
 А мятки — утопает нога.

В жаркий полдень по травам длинным,
 По сплущим речным пескам,
 На полозьях везли домовину,
 Был покойник сух и прям.

* О. Никон Беляев, иеромонах

Русый волос с седым мешался,
 Снова стало лицо молодым,
 И, казалось, он улыбался
 Имянинам небесным своим.

А за гробом плелась Ириша*,
 Всех послушней была она,
 Терпеливей, смиренней, тише
 И до смерти была верна.

Разделила с отцом своим горе,
 Узелок и иконку взяла,
 И к студеному Белому морю
 Добровольно в ссылку пошла.

А у батюшки таяли силы,
 Тосковал он в суровом краю,
 Но безмолвно молитву творил он,
 Вспоминая обитель свою.

И однажды в смертном томлении
 Приподнялся, больной, и сказал:
 — "Вот какое к нам посещение!
 Дай же стул!" — и лицом просиял:
 — "Это старец Макарий, родная,
 Он пришел исповедать меня!"
 И горела зря, не сторяя,
 Купиной золотого огня.

И незримая длилась беседа,
 А Ириша не смела прервать.
 Или бред, но ведь не было бреда,
 Или сон — не ложился он спать.

А когда духовник сокровенный
 Отошел в предрассветную сень,
 Ляг спокойный, счастливый, блаженный
 Чуть желтел среди белых простынь.

* Ирина Бабкова, ныне монахиня Серафима

Эпилог

Оптина, Оптина, Оптина,
 Отчий покинутый дом!
 Свет из окон заколоченных,
 Свет на пороге твоём.

Все, что надвинулось страшное,
 Все, что мне сердце сожгло,
 Здесь, под стеной многобашенной,
 Дугом зеленым легло,

К старцу на исповедь в очередь
 Стану в последний ряд,
 Пусть и для блудной дочери
 Сосны твои шумят.

Пусть тишиной непостыдною
 Твой покрывается рай,
 Белая, молибевицкая,
 Явственно заблестай!

Камни, повитые травами,
 Главы, одетые славой,
 Грозный Господень дом,
 Бесь в светносном облаке,
 В неизреченном облике
 В мире восходит ином.

Вячеслав Кондратович

По разные стороны баррикад
(Константин Николаевич Леонтьев и Николай Федорович Федоров)

На закате девятнадцатого века в России появился странный человек, "загадочный старик". Служил библиотекарем. Добрый, отзывчивый, скромный, тихий... Всем своим обликом и праведной, правильной жизнью он многим напоминал святого. Это был Николай Федорович Федоров, автор учения, о котором Владимир Соловьев сказал, что "со времен Иисуса Христа в лице Федорова человечество сделало первый заслуживающий внимания шаг". Об этом учении было высказано уже достаточно много суждений, но с учетом определенного опыта мне хотелось высказать еще одно мнение о том, что же это за "заслуживающий внимания шаг" и в какую сторону он был сделан.

В учении Федорова есть и рассуждения о соборности, о почитании предков, и скорбь по поводу утраты родственных, братских отношений между людьми... Но главное, на чем основывается эта соборность, от чего должны возродиться утраченные братские отношения между людьми, — это "общее дело", которое должно объединить человечество. С точки зрения Федорова, все средства, все достижения человеческой мысли все должно быть подчинено одной цели — научному человеческому воскрешению умерших предков. В этом смысле он трактует Ветхий и Новый Завет, в связи с чем его часто называют религиозным мыслителем. По-моему, он действительно религиозный мыслитель, но несколько в другом, не совсем обычном смысле.

Если взглянуть на тот путь, который прошло человечество в сторону "прогресса" (особенно в Новое время, начиная с Возрождения), то нельзя не заметить, что наука и ученые прошли тернистым путем самоутверждения и теперь играют чуть ли не главную роль в жизни современного общества. У науки есть даже свои символические фигуры, нечто вроде "святых мучеников", которые своим "страданием" отстаивали научное миропонимание (Галилей, Дж. Бруно и т.п.). Но все-таки это научное движение

к истине было стихийным, неоформленным, неопределенным, погруженным в дурную бесконечность какого-то абстрактного прогресса. И только Федоров с чисто русской последовательностью поставил все точки над *i*, указав идущим по пути прогресса конечную определенную цель, т.е., в сущности, придал науке религиозный статус. Ведь каждый человек, верящий в научный прогресс, подчиняющийся его институтам, участвующий в нем, сознательно или бессознательно, признается он себе в этом или нет, но верит и в свое грядущее воскрешение научными средствами (вспомним хотя бы стихийное обращение Маяковского к ученому: "Воскреси меня!"). Так же и любое медицинское (т.е. научное) исцеление больного врачом при помощи лекарств может рассматриваться как прообраз грядущего научного воскрешения человека, подобно тому, как исцеление страждущего Христом или святым всегда считалось в христианстве прообразом грядущего Божественного воскрешения человека. И в этой последовательности, с которой Федоров сформулировал "символ веры" ученого, сделал все неосознанное осознанным, и заключается основное достоинство его учения, его своеобразная религиозная глубина. Правда, именно эта последовательность мешает признанию федоровского учения в среде "умных" деятелей прогресса, привыкших больше рассуждать о каком-то отвлеченном "всеобщем благе" и т.п. абстрактных вещах, и которых подобная последовательность ставит в несколько неловкое, "глубокое" положение.

Но на этом достоинства учения Федорова для меня исчерпываются. Ясно, что, несмотря на свою очевидную религиозность, Федоров человек другой, не христианской веры, хотя и прибегает для обоснования своего учения к толкованию Нового Завета. Прежде всего бросается в глаза крайне гуманистический пафос его учения (под гуманистическим я понимаю такое мирозерцание, когда в центр мира ставится человек, а не Бог). С этой точки зрения, учение Федорова, как и, казалось бы, прямо противоположное ему учение Ницше, представляет собой наиболее полное и последовательное выражение духа гуманизма Нового времени. Гуманизм федоровского учения уже не предполагает ни греха, ни соблазна, ни подвига веры, ни аскетичности, ни трагизма

одиночества и богооставленности..., а только "серьезную исследовательскую работу" специалистов и пассивное ожидание остальных. Именная ситуация "больной-врач" достаточно характерна, ибо уже не "вера спасла тебя", а лекарства, в принципе, доступные каждому. Поэтому поверить в возможность подобного человеческого воскрешения умерших означает для меня полную деградацию и духовную смерть человека, чего только и можно ожидать от неизбежной при этом утраты страха смерти, а следовательно, и Божьего страха. Неслучайно лозунг Антихриста "всем дать всё", которым так или иначе движима наука, находит в этом учении свое абсолютное воплощение.

Во второй половине прошлого века жил другой русский мыслитель, чей внешний облик, образ жизни и, наконец, взгляды находятся в разительном противоречии с тем, что мы находим у Федорова. Это человек, над именем которого, по словам Розанова, "витают ангел забвения". И по сей день его имя большинству мало известно или вообще ничего не говорит. Это неслучайно: нас отделяет от него роковая черта Семнадцатого года. Имя этого человека — Константин Леонтьев.

Если Федоров придает науке законченный религиозный статус, то нет, наверное, более последовательного и непримиримого врага науки, чем Константин Леонтьев. В письме к одному своему знакомому * (находясь уже не на эстетских, как в молодости, а на ортодоксально церковных позициях) Леонтьев презрительно описывает заседание современных ему ученых советов, где все "в серых сюртуках", перечисляет темы диссертаций, посвященных исследованию "образа жизни дождевого червя" и т.п., недоумевает, как всем этим можно всерьез заниматься, и, подводя итог, делает вывод, что, пожалуй, "пара кирасиров на конях стоят всей этой науки"... Всякий раз, перечитывая это письмо, я поражаюсь его

* письмо Фету (см. ниже)

актуальности. И в дальнейшем Константин Леонтьев неоднократно обрушивался на позитивистские идеалы, по разным поводам замечая, что вся наука, в конечном счете, тоже держится на вере в прогресс, разум, пользу и прочие неопределенные, а потому непонятные и неприемлемые для него вещи.

Сам облик Леонтьева, образ его жизни никак не вяжутся с внешней, бросающейся в глаза "святостью" Федорова. Говорят, в молодости он постоянно изменял своей жене, подробно рассказывал ей о своих изменах, что, в конце концов, привело ее к безумию... Но именно этот человек кончил свою жизнь в монастыре, исповедуя самую глубокую и искреннюю веру в Христа, и, может быть, как никто другой приблизился в своем творчестве к уровню аскетическому духу первых веков христианства. Он был сторонником сильной церковной и монархической власти, смирения; страх Божий ставил прежде любви, говорил о неизбежности и даже необходимости страданий. Леонтьев отрицал возможность установления гармонии на земле и даже Достоевского критиковал за либерализм, "розовое христианство". Что же говорить о всеобщем братстве людей под антихристовым лозунгом?! В связи с крайне гуманистическим пафосом Федоровского учения, любопытно вспомнить фразу, как-то оброненную Леонтьевым, которая в свете нашего опыта звучит теперь как пророчество: "Гуманизм и христианство — это два поезда, которые когда-то вышли из одной точки, но постепенно их пути настолько разошлись, что они неизбежно должны столкнуться".

Революция 1917 года дала нам тот опыт, который позволяет говорить об этих, казалось бы, ни в чем не похожих людях. В то время столкнулись силы, может быть, куда более глубокие, выявились противоречия, может быть, куда более сильные, чем те, о которых обычно говорят. И может быть, именно Леонтьев и Федоров были центральными символическими фигурами тех движений, которые оказались в то время "по разные стороны баррикад".

Даже в самом примитивном, вульгарно-пропагандистском советском фильме как-то-нибудь аристократу обязательно противопоставит не большевик или рабочий, а "добрый, хороший, умный" интеллигент (депутат Балтики и т.п.), носитель "поло-

жительных идеалов светлого будущего". У Василия Чекрыгина, художника, находившегося под сильным влиянием федоровских идей, даже были фрески под характерным названием: "Восстание и вознесение". И наверное, неслучайно вся интеллигенция, принявшая революцию не "вульгарно-социологически", а глубоко, всерьез и последовательно, оказалась под воздействием идей не Маркса, а именно Федорова. Кроме Чекрыгина можно вспомнить Филонова, Хлебникова, Заболоцкого, Платонова, Циолковского... Все это, может быть, еще и не признанные до конца, но стоящие "по эту сторону баррикад" люди, в своем роде "святые от социализма".

Если бы меня попросили выразить различие между Федоровым и Леонтьевым образно, то я бы сказал, что они отличаются друг от друга примерно так же, как дистиллированная вода — от вина. Тот, кто хоть раз был в православной церкви у причастия, поймет, о чем я говорю. Я не берусь кому-нибудь навязывать свои вкусы, помня слова Киркегора: "Если я попрошу стакан воды, а мне принесут вина, я не буду благодарен". Всему — свое время.

Но несмотря на победу определенных сил, несмотря на то, что признание многих последователей Федорова еще впереди, несмотря на то, что подобных Константину Леонтьеву вроде бы уже и нет, и он часто воспринимается только как экзотический представитель навсегда ушедшего прошлого, — что-то в нашей жизни говорит мне о том, что далеко не все могут удовлетворить свою жажду
в о д о й ...

Константин Леонтьев
(1831-1891)

Некстати и кстати.
(Письмо А.А.Фету по поводу его юбилея)

Когда же на Руси бесплодной
Жизнь обретет кабтан цветной
И стиль одежды благородный.

Я послал Вам телеграмму с изъявлением удовольствия моего по случаю Вашего юбилея, — я бы прислал ее и раньше, в самый день обеда в Эрмитаже, если бы в газетах был заблаговременно и точно обозначен день этого праздника русской поэзии. Но известие получилось здесь так поздно и было насчет дня так неточно, что я поневоле опоздал. Но что ж делать? Лучше поздно, чем никогда!

Вы давно знаете, как высоко я ценю Ваши стихи, для Вас это не новость, я с 20 лет уже был одним из тех немногих, о которых вы говорите в Вашем последнем, столь искреннем и прекрасном, стихотворении...

Полвека ждал друзей я этих песен,
Гадал о тех, кто им живой приют...

Стихов Некрасова я уже юношей, за немногими исключениями, терпеть не мог и с ранних лет находил, что он мог бы писать гуманные и "демократические" статьи, не заставляя нас читать "деревянные вирши", как верно про него выразился Евгений Марков. Понятно поэтому, что я уже несколько лет тому назад, живя еще в Москве, думал про себя, что давно пора, хотя бы посредством обыкновенного юбилея, заявить публично о Ваших заслугах и Вашем значении.

впервые опубликовано: "Гражданин", 1889 г.
печ. по: К.Леонтьев с/с т.7, М. 1912-14.
с сохранением особенностей авторской орфографии.

"Хотя бы посредством обыкновенного юбилея"; — сказал я. Что значит это "хотя бы"? Позвольте мне оттаlechься как можно дальше. И внешних юбилеев не люблю. Мысль их, положим, хороша, намерение их прекрасно. Но что ж мне делать, если вообще формы современных празднеств мне ужасно не нравятся! Победить это чувство я не в силах, тем более, что и разум мой, моя теория это чувство оправдывают. Ужасно не красиво! да позволено мне будет выразиться грубее: хамство! Не моральное хамство, нет, избави Боже! Зачем же так думать! Это было бы несправедливо. Во всяком празднестве и нравственный смысл его, и душевное настроение участников могут быть прекрасны. Нет, не нравственная, не эстетическая сторона почти всех празднеств XIX века не хороша! Не душевный смысл их, а пластические формы ужасны!

Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно, или даже самоотверженно, мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительная радость была отуманена, — не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.Н. Майкова (тоже высокоценимого мною, признаюсь, с несколько меньшим субъективным пристрастием).

Какая же была эта убийственная строка?

А вот она: "Вошел маститый юбиляр во фрак и белом галстуке". — Увы! Не лучше было бы уж умолчать об этом?

Конечно, во фракe, а не в калате и даже не в сюртуке. И так можно догадаться! Все знают, что со времени объявления "прав человека", ровно 100 лет тому назад, началось пластическое искажение образа человеческого на демократизируемой (т.е. опощляемой) земле. Все и так знают, что изо всей природы только один европейский человек в XIX веке начал для праздников своих надевать траур, — и траур при этом куций: не мантию черную, а черный камзол какой-то с двумя черными же хвостами сзади.

Вся природа украшается для празднеств своих. Весна зеленая, лето красное и золотая первая осень — пестрее зимы. Праздник

возрождения, праздник встречи с жизнью, праздник бессознательной любви и цветения, праздник прощания перед долгим отдыхом и сном. ("Цветы последние милей роскошных первоцветов полей!"). Какой может быть праздник у растений, кроме праздника бессознательной любви, стихийного влечения. У них не может быть ни религиозных, ни общественных праздников, у них есть только летний праздник полового стремления. И вот эти растения в пестрых цветах.

Красивые цветы совсем не нужны им для ближайшей цели. Многие травы и большие деревья цветут цветами зелеными и невидными, и это не мешает им размножаться, — но большинство растений цветет цветами разноцветными, иные душистыми. Это не для них самих. Это роскошь, это избыток сил прекрасного, это — поэзия. Поэзия жизни самой, а не поэзия отражения в человеческом искусстве. И у многих животных есть такой ненужный для них самих избыток красоты, есть гривы пушистые, хвосты, рога изыщные. Не особенно красивый серый попугай живет и размножается точно так же, как и великолепные какаду и ара. И наша галка, положим, наслаждается жизнью не хуже других птиц, обходясь без пунцовой головы, без голубых крыльев, без хохла. Это так, но, с другой стороны, ведь и райской птице все ее избыточные и прелестные украшения не мешают испытывать не хуже галки разные приятные ощущения. А со стороны смотреть на обилие галок совсем не то, что любоваться на множество райских птиц.

Почему же и к людям не прилагать той же внешней эстетической мерки?

Почему бояться сознаться, что смотреть на взвод кавалергардов, идущих в Петербурге на царский смотр, — это наслаждение для здорового вкуса, а взирать на заседание чиновников или профессоров — тоска... Однажды (несколько лет тому назад) я шел по Петербургу, конечно, тоже в бессмысленном цилиндре и уродливом (но "удобном" будто бы) сак-пальто, шел и увидел такой взвод кавалергардов. Под одним молодым, свежим офицером лошадь прыгала и поднималась на дыбы. И он, видимо, был рад этому. Я постоял, долго глядя вслед молодцам, подумал о своем штатском, европейском убожестве, пошел в раздумьи дальше и вспомнил по связи мысли о

двух ученых "рефератах" (почем же не докладах?) или диссертациях, что ли, о которых я прочел перед этим в газетах... Один из них имел предметом - "Образ жизни русских дождевых червей", другой трактовал "О нервной системе морского таракана"! Несмотря на то, что заглавия эти довольно забавны, я не забывал ни известного латинского изречения: "Великое да совершается в малом", ни другого, наполеоновского: "от великого до смешного один шаг" (или в приложении к данному случаю, наоборот "от смешного до великого один шаг"). Отчего же ученым людям и не вникнуть в нервную систему таракана не только морского, но и обыкновенного, кухонного? Быть может, в ней найдется что-нибудь особое, способное даже и неожиданно пролить свет на функции нервной жизни вообще? Быть может, с другой стороны, дальнейшее развитие самой точной науки докажет даже и математически, что многоученость и многокнижность с истекающими из них слишком уж дерзкими открытиями и изобретениями вредна нервам, физиологически вредна, психически, социально, умственно даже вредна. До того, положим, вредна, что сама добросовестная наука потребует для дальнейшего разумного существования человечества некоторой доли того, что нынче еще по старой привычке зовется бранным словом "обскурантизм". Захотят поставить экран перед утомленными глазами человечества, найдут нужным - понизить до копоты пылающий светоч рассудка. Отчего же не предположить этого? Если наука, в пределах наших умственных сил, бесконечна, то что же будет за бесконечность эта, если она не может вместить в себе и возможности преднамеренного самоограничения? Реакция есть во всем, и в науке было множество частных реакций.

Отчего же не настать и великой общей реакции? Отчего же не предположить, например, что науки высшие (по предмету) психологические и социальные не потребуют со временем ограничения влияний на человечество наук низших: физики, неорганической химии, механики?

И вот - тараканы- и морской, и обыкновенный, - изучаемые "честными тружениками науки", могут дать толчок к чему-нибудь великому. Нервная система лягушки под рукою Гальвани пала же великий толчок для изучения электричества, благодаря которому прославились теперь Эдисон и русский европеец Яблочков, почему же таракану, например, или дождевому червю не дать случайного,

хотя бы и обратного толчка, после которого (предположим) - и в конце XX века имя Эдисона будет предано какой-нибудь научно-социальной анафеме. Отказалось же человечество сознательно и преднамеренно в первые века христианства от стольких дорогих приобретений и созданий классического мира? "Плоды древа познания" могут погубить наконец "древо жизни", если "царство" этого, теперь слишком прямолинейного познания не разложится в себе. Ибо "Теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет", сказал Мефистофель студенту. Нынешний же прогресс на всех поприщах и во всех странах ведет к чему-то, именно - серому, "среднему". Серая теория равенства, ассимиляции, однообразия, быстрого (при помощи изобретений) смешения всех цветов жизни в один бесцветный - эта теория торжествует на практике. Чтобы спасти жизнь, т.е. разнообразие и сложность (не оудий всесмешения), а самого социального материала, нужно, чтобы сознание восстало наконец на сознание, наука на науку, познание на собственные излишества и т.д. Надо, чтобы сознание попыталось восстановить хоть сколько-нибудь культ бессознательности, чувства, преимущества страстной воли над рассудком, крови и плоти над нервами.

Вот куда привела меня мысль от красавца кавалергарда и дождевых червей!... Я сокращаю мою речь, обрубаю ветви у древа моей фантастической мысли. Она уже слишком рвется в необъятное, которое "объять невозможно", как сказал прекрасно Кузьма Прутков:

И миг один - и нет волшебной сказки!...

И душа опять полна возможным...

Но и спускаясь ближе к почве, к этому возможному, оставляя пока все эти любимые мечты моего рационального и просветительного обскурантизма, я мог бы при всей нелюбви моей к размножению книг и ученых допустить, что полезны бывают иногда не только главные жрецы современного идола этого (точной науки), - но даже и дьячки, и пономари его... Могу допустить, что и тот ученый, который изучает "образ жизни дождевых червей в России", и тот, который исследует "нервную систему таракана", - оба могут принести ближайшую, непосредственную пользу даже тому самому кавалергарду, на которого я любовался. Благодаря лягушке Гальвани, и мне в Москве гальванизмом помогли раз от жестокого страдания. Правда,

что явная телесная польза от этого была только мне одному, остальные же последствия моего выздоровления сомнительны как для меня, так и для других людей... Конечно, теория всеобщей пользы есть самая шаткая из теорий, и уж одна популярность ее в XIX веке весьма плохо ее рекомендует, ибо в XIX веке если не все, то очень многое естественное вывернуто наизнанку. Общей благодетельной пользы нет, конечно, но одному кавалергарду тому или его прекрасному коню возможно при случае, благодаря изучению нервной системы низших животных, принести пользу. Какое-нибудь открытие; за открытием лечение или гигиеническая мера. Благодаря тому, что "скромный (?) ученый потрудились над насекомым или полипом каким-нибудь, кавалергард может стать еще свежее и красивее, его конь еще крепче и великолепнее А может быть (кто знает!) в этом кавалергарде таится будущий Скобелев или Черняев, будущий Лермонтов или будущий Афанасий Афанасьевич Фет?

Ведь и Лермонтов был лейб-гусаром, и Вы были кирасиром и, как слышно, отличным наездником. Ну, вот и целой России и гордость, и польза своего, специального рода, но все-таки не всеобщая. Бисмарку и германцам вообще Скобелев не казался, например, полезным, и Лермонтов был полезен покойному теперь Мартынову разве только тем (духовно), что Мартынову приходилось не раз молиться и служить панихиды по рабе Божиим Михаиле. Люди без вкуса и до сих пор у нас находят, что Ваша поэзия бесполезна, ибо из нее сапог не сошьешь.

Знание "образа жизни русских дождевых червей", говорю я, точно так же, как и знакомство с нервной тканью таракана — может случайно или не случайно принести пользу не одному человеку, но, быть может, и многим, в частности.

Я забыл уж, вредны ли они для хозяйства или полезны. Не помню. Во всяком случае, если они имеют какое-нибудь отношение к почве, а почва, конечно, прежде всего важна для хозяйства, то само собой следует, что богатое доходное имение даст возможность для проявления всякой эстетики, и жизненной, реальной (здоровье, свежесть, конь хороший, каска золоченая, дорогая одежда, латы), и отраженной, можно писать стихи не "о скорби".

Я признаюсь, не понимаю даже, как можно, живя постоянно в дешевых столичных меблированных комнатах, писать такие стихи,

какие Вы писали -

Снова птицы летят из далека
К берегам, расторгаящим лед.
Солнце теплое ходит высоко,
И душистого ландыша ждет.

Не то, что нельзя, но даже и не следует, по-моему... Нейдет!

Итак, я успокоился... Я вынужден был допустить, что и дождевой червь, и таракан, и специалисты, их изучающие, могут быть даже и для эстетики при случае полезны... И для прекрасного в жизни (А.А.Фет, молодой кирасир, напр.), и для прекрасного в искусстве...

(Вижу: кто-то скачет
На лихом коне, -
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!)

Хорошо! Но зачем же они, эти ученые, на заседании своем в пиджаках? Или подобно всем: и молодым женихам, и маститым юбилярам "во фраках"?

Вспомним великого анатома Везалия и врача Амбруаза Паре в шелковых статуарных рясах! Вспомним Ломоносова и Державина в расшитых цветных кафтанах, в чулках с башмаками. Вспомним Бэкона Веруламского и Шекспира в буфах, борках и бантах!

Не мешала эта пышность им делать свое серьезное дело!

Поверьте мне, и эстетика этих отражений в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе, - и она не устоит надолго, - если в самой пластической стороне жизни не будет больше идеализма.

Поверьте, это не пустяки - эта внешность, это очень важно! Эта внешность - есть выражение еще неясно понятого какого-нибудь внутреннего психического закона.

Каждый новый век (в новейшей, по крайней мере, истории) вносил новый стиль одежд и обычаев, и этот общий стиль, с незначительными колебаниями в оттенках, держался до нового века и до утверждения надолго нового духа. Неужели только XX, уже наступающий век будет исключением, и черный фрак, пиджак, сюртук, цилиндр и панталон лягут в могилу вместе с последним образованным человеком на земном шаре? Это было бы очень грустно, если бы было

правдоподобным. Не будет нового внешнего стиля в жизни, — значит, не будет уже никогда и нового духа, — а останется на веки веков все тот же всепожирающий, всеравняющий, буржуазный.

Но такой застои мысли и вкуса возможен только в двух случаях: или в том случае, когда все люди сознают (или, вернее сказать, вообразят себе), что человечество дошло во всем уже до наивысшего, доступного на земле совершенства, или, напротив того, если гибель человечества, общее вымирание его или последняя всеземная катастрофа так уж близки, что некогда и духу новому созреть, и людям, начавшим свою земную карьеру в детской простоте звериных шкур и фиговых листьев, — придется кончать ее в старческом упрощении фраков и пиджаков.

О том, что человечество уже достигло до совершенства, мы ни от кого еще пока, слава Богу, не слышим.

Что же касается до всеобщей погибели и смерти, то хотя нам одинаково пророчат ее и христианская религия, и пессимистическая философия нашего времени, и, наконец, естественное чувство здравого смысла, (ибо все живое, органическое должно когда-нибудь разрушаться и гибнуть), но все-таки позволительно думать, что конец историческому миру нашему не так уж близок теперь, чтооно все человечество было бы расположено поступать так, как поступил, говорят, однажды хладнокровный герцог Веллингтон на корабле во время сильной бури. Он спал, проснулся и хотел было надевать сапоги, но в эту минуту вбежал к нему испуганный адъютант и воскликнул: "Милорд, мы погибли!". "О, — ответил герцог, — тогда и одеваться не стоит". Снял уже надетый сапог и лег опять.

Нет, такого равнодушия еще не заметно. Люди, вопреки советам гр. Л. Н. Толстого, хотят еще пиры давать и танцевать, хотят щеголять. Но если уж щеголять, так со вкусом и толком. Если пировать и плясать, так было бы на что и со стороны порадоваться!

В прежних одеждах и в прежних плясках была всегда идея. В упрощенных нынешних одеяниях и в искаженных нынешних танцах ее нет. Идея отлетела, символ утратился, и остались только: условность тупой привычки без внутреннего значения и стариковская какая-то опрятность белой, накрахмаленной груди и белых или палевых перчаток!

Перчатки – это имеет смысл, но почему же непременно белые или почти белые? Отчего не пунцовые? Отчего не расшитые? Предпочтение только опрятности, только чистоплотности и только комфорта – роскоши, пышности и красоте есть само по себе уже признак усталости и устарения.

По-моему, что-нибудь одно: или думать именно так, как граф Толстой: "Не нужно вовсе балов, не нужно пиршеств, не нужно роскоши и денежных затрат, патриархальная простота, физический труд, близость к природе, кроткая и трудовая пасторальность".

Такая всеобщая простота, без фабрик, без машин, без ужасающих ум библиотек, без подавляющих душу огромных городов, с невинными и небольшими развлечениями – стала бы наверное и скоро живописна сама собою. Особенно эта пасторальность стала бы живописна и мила, если бы граф, по известной любви своей к человечеству, позволил бы нам еще одно утешение, еще одну, кажется, безвредную отраду, – разрешил бы нам при этом хоть самые скромные и недорогие храмы строить, зажигать лампы, "поднимать" иконы и т.п. Да, при последнем условии – это было бы очень хорошо, – настал бы золотой век правды, кротости, скромного благоденствия, взаимной любви и первобытной поэзии.

Но ведь такая всемирная идиллия невозможна в столь поздний и рассудочный исторический возраст, каков наш. К тому же, подобные надежды противоречат и пророчествам христианства гораздо более, чем разрешение попить иногда в меру и благородно, противоречат заповедям, советам и даже примерам самого Спасителя. Он Сам соблаговолит пировать на свадьбе в Кане Галилейской, как справедливо было замечено недавно в "Русском деле". Но относительно всемирной идиллии нет обещаний в Евангелии, а предсказаны бури страстей, войны, междоусобия, глады и трупы до скончания века!

Итак, с христианской точки зрения, изредка, по немощи нашей повеселиться несравненно позволительнее, чем проповедовать ересь безбожной этики и невероятной всеобщей любви.

Если же позволительно и желательно в меру щеголять, плясать, пировать, так надо, чтобы это было в самом деле красиво, изящно и осмысленно. Чтоб было и на полотне изобразимо, чтоб и природу не безобразило.

А разве нынешний быт изобразим на полотне хотя бы в той мере, в какой изобразим даже манерный, но пестрый быт ХУШ?

Разве сам Пушкин Репина чернильным пятном не портит южного берега и моря, написанных Айвазовским? (Я не видел этой картины, но заглазно уверен, что портит, во всяком случае, самый простой крымский татарин больше бы украсил природу южного берега, чем великий русский поэт в европейской одежде XIX века).

Что же касается до вопроса об отношении общей устарелости к прекрасному, то и сам Прудон, разрушитель из разрушителей, Прудон, которого идеал есть полнейшее равенство и однообразие человечества, сознается, однако, в своей книге "О принципе искусства", что "ослабление эстетического чувства было бы верным признаком устарения и приближения всего человечества к своему концу".

Конечно, и он, по общей большинству писателей дурной привычке говорит об эстетике искусства больше, чем об эстетике самой действительности; но я повторяю, недолго проживает и эстетика отражений в духе нашем, если дух прекрасного отлетит мало-помалу ото всего в действительной жизни!

Простите мне, что я, "начавши за здравие", свел как будто за упокой.

В заключении же этого письма позвольте объяснить Вам, почему я, радуясь так живо, что юбилей Ваш праздновался, с другой стороны, так доволен, что могу радоваться на него не вблизи, а отсюда, из моего "прекрасного", мало современного "далека".

"Если бы я был теперь в Москве, то мне пришлось бы (сказал я в начале письма) или быть слишком бескорыстным, или даже самоотверженным".

Ценя Вас так давно, давно, и так высоко, благодарный Вам еще с 50 года (когда я впервые узнал Ваши стихи) за те наслаждения, которые они мне доставляли, я, конечно, захотел бы принять участие в предстоящем празднестве, в обеде, положим, который Вам дали в Эрмитаже.

И что ж бы мне предстояло тогда?

Принять участие в приготовлениях и - не поехать на пиршество, на праздник чистой поэзии, не есть самого хорошего обеда, не слушать музыки, не видеть довольно редкой в современной России вещи - торжества правды, хотя бы и поздней, не пожать Вам руки, не обнять Вас, не поздравить вместе с другими...

Или надеть черный фрак (он у меня висит в шкафу, вообразите!) и белый галстук и стать самому тоже уж довольно "маститым" участником прославления любимого юбиляра... Ах!... тоже... пирующего в черном фраке и белом галстуке!...

Первое - не поехать - было бы весьма неприятным бескорытием, второе - уж и сам не разберу - что такое? Дурной бы это был поступок или хороший? Малодушная ли измена давним вкусам (если уж Вы не разрешите мне и это назвать убеждениями)?

Или это было бы торжество нравственности над эстетикой, моей приязни и моего уважения к Вам над фанатизмом ярких красок и красивых линий, колорита и складок, фанатизмом, который я, как видите, безумно, упорно и бесстыдно готов исповедовать!

Да и как же иначе?

Если досадно видеть, что сухие труды серьезных ученых совершаются в уродливой и вовсе уже несерьезной одежде, то что же можно чувствовать, видя, именно - видя глазами, что русские люди до сих пор еще и на балах танцуют, и свадьбы играют, и праздники такой радужной поэзии, как Ваша, празднуют все в том же кущем трауре, который Запад надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему!

Разве у нас есть такое великое прошедшее?

Разве у нас нет уже никакого русского будущего? Пусть так думает В.С.Соловьев, если ему это утешительно! Доказать он нам этого в точности не в силах.

Верить же ему мы не обязаны. Верить даже и тому, что нам кажется по рассудку неправдоподобным, можно только в порядке строго религиозных мыслей и чувств. Но сочинения г.Соловьева не катехизис, одобренный св.Синодом или патриархами, и сам он нам не папа и не оптинский или афонский духовник.

Мы можем его с удовольствием и даже иногда с наслаждением, благодаря его дарованиям, читать и слушать, но слушаться его никто не обязан без ясных доказательств, и потому я нахожу, что относительно руссизма вообще (а следовательно, и относительно форм внешнего быта) гораздо вернее и приятнее разделять надежды Конст. Аксакова, Хомякова и Данилевского.

Они находили, что обретение или создание красивых и своеобразных форм этого быта будет вернейшим признаком полной зрелости и эмансипации русского ума и чувства.

Страстная идея ищет всегда выразительной формы.



Ж О А Н И Т Е Я
ПРЕПОДОБНОМУ
АМЕРОСИЮ ОПТИНСКОМУ

Великий старче и угодице божий, преподобне отче наш амеросие, оптинская похвало и еси руси учителю благочестия! сияем твое во христе смиренное житие, ниже бог превознесе имя твое еще на земли тебе суща, наипаче же усенча ты небесною честью по отшествии твоем в чертог славы вечныя. прими ныне жование нас, недостойных чад твоих, чуждых ты и презирающих имя твое святое. избави нас твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, низпосли отечеству нашему от великодароуемого бога мир, тишину и благоденствие, буди непреодолимый покровитель святых обителей сия, в немже в прехспянии сая подензаяся еси и угодиа еси есая в троне славыиоу богу нашему служе подобает всякая слава, честь и поклонение, отцу и сыну и святому духу. ныне и присно и во веки веков. аминь.





Константинъ Николаевичъ Леонтьевъ.

† И. М. Концевичъ.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ и ея время.

(Редакція Е. Ю. Концевичъ и Г. Д. Подмошенскій.)



Түпографіа прип. Іова Почаївскаго.
Holy Trinity Monastery, Jordanville, N. Y.

1970 г.

Константинъ Николаевичъ Леонтьевъ.

(1831-1891).

Константинъ Николаевичъ Леонтьевъ нашель покой и умиротвореніе у ногъ старца Амвросія, какъ раньше у ногъ старца Макарія — другой оптинецъ — Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій.

Это были совершенно различные люди: Кирѣевскій былъ воплощеніемъ кротости и внутренней гармоніи, Леонтьевъ, наоборотъ, при личной глубокой добротѣ, былъ съ молодыхъ лѣтъ обуреваемъ многими страстями, на борьбу съ которыми ушла вся его зрѣлая жизнь. Началомъ этому послужило чудо исцѣленія его отъ холеры въ Салоникахъ. Онъ тогда же хотѣлъ принять монашество, но аѳонскіе старцы о.о. Иеронимъ и Макарій не согласились его постричь, находя это преждевременнымъ. Медикъ, дипломатъ, философъ, литераторъ и подл конецъ — монахъ, К. Н. былъ человѣкомъ исключительной глубины и блеска ума, и, какъ о немъ выразился Бердяевъ: «К. Леонтьевъ былъ необычайно свободный умъ, одинъ изъ самыхъ свободныхъ русскихъ умовъ, ничѣмъ не связанный, совершенно независимый». Между тѣмъ онъ при жизни не встрѣтилъ въ русскомъ обществѣ ни признанія, ни пониманія. «Можетъ быть, послѣ моей смерти обо мнѣ заговорятъ», сказалъ онъ, «а, вѣроятно, теперь на землѣ слава была бы мнѣ не полезна, и Богъ ее мнѣ не далъ». Розановъ выразился о немъ такъ: «Прошелъ великій мужъ по Руси и легъ въ могилу. Ни звука при немъ о немъ. Карканьемъ воронъ онъ встрѣченъ и провоженъ». Какая же была тому причина? Тотъ же Розановъ въ той же статьѣ въ «Новомъ Времени», посвященной вышедшему тогда сборнику по случаю 20-лѣтія со дня его смерти, говорить о немъ слѣдующее: «Вотъ эта нравственная чистота Леонтьева — что-то единственное въ нашей литературѣ! Всѣ (почти и великіе!) писатели имѣютъ несчастное и уничижительное свойство быть нѣсколько «себѣ на умѣ», юлить между Сциллою и Харибдою, между душой своей и маскою публики, между литературнымъ кружкомъ, къ которому принадлежатъ, и ночными своими думами «про себя»: ничего подобнаго не было у Леонтьева съ его «иду на васъ». Онъ шель сразу на всѣхъ!

По образованію онъ былъ медикъ и прикладывалъ специально патологическія наблюденія и наблюдательность въ явленіяхъ міровой жизни и прежде всего, будучи эстетомъ, онъ понималъ всѣ явленія пошлости и

измельчания, какъ симптомы конца и увяданія культуры. «К. Леонтьевъ», говорилъ въ 1926 г. Бердяевъ¹⁾, «уже болѣе 50 лѣтъ тому назадъ открылъ то, что теперь на Западѣ по-своему открываетъ Шпенглеръ». И далѣе говоритъ Бердяевъ о Леонтьевѣ: «Онъ острѣе и яснѣе другихъ почувствовалъ антихристову природу революціоннаго гуманизма съ его истребляющей жадной равенства».

Знаменитая теорія о «Триединомъ процессѣ развитія» жизни государства блестяще изложена Леонтьевымъ въ лучшихъ философскихъ публицистическихъ произведеніяхъ его — въ «Византизмѣ и славянствѣ» (1875) и посмертномъ «Среднемъ европейцѣ, какъ идеалѣ и орудіи всемірнаго разрушенія».

Иногда онъ надѣется, что послѣ того, какъ человѣчествомъ будетъ испытана «горечь социалистическаго устройства», въ немъ начнется глубокая духовная, религиозная реакція, и тогда въ самой наукѣ явится «чувство своего практическаго безсилія, мужественное покаяніе и смиреніе передъ правотой сердечной мистики и вѣры». Но въ годъ своей смерти, въ статьѣ «Надъ могилой Пазухина», онъ крайне пессимистически выражаетъ взглядъ на будущее: «... Русское общество и безъ того довольно эгалитарное по привычкамъ, помчится еще быстрѣе всякаго другого по смертному пути всесмышенія и — кто знаетъ? — подобно евреямъ, не ожидая, что изъ нѣдръ ихъ выйдеть Учитель Новой Вѣры, — и мы, неожиданно, лѣтъ черезъ 100 какихъ нибудь, изъ нашихъ государственныхъ нѣдръ, сперва безсословныхъ, а потомъ безцерковныхъ, или уже слабо церковныхъ, — родимъ... антихриста?».

Леонтьевъ былъ человѣкомъ строго православнымъ, исповѣдую византійское, филаретовское, оптинское православіе. И спрашивается, можетъ ли нѣчто отличное отъ этого православія называться по справедливости «православнымъ»?

Леонтьевъ говоритъ: «Византійскому Православію выучили меня вѣрить и служить знаменитые аѳонскіе духовники Иеронимъ и Макарій... Лично хорошимъ, благочестивымъ и добродѣтельнымъ христіаниномъ, конечно, можно быть и при филаретовскомъ и при хомяковскомъ оттѣнкѣ въ Православіи; и были и есть таковые... А вотъ уже святымъ нѣсколько вѣрнѣе можно стать на старой почвѣ, филаретовской, чѣмъ на новой славянофильской почвѣ». Приведя эти слова, Бердяевъ отъ себя добавляетъ: «Образъ св. Серафима, — совсѣмъ не византійскій и не филаретовскій, опровергаетъ Леонтьевъ» (стр. 238) и «своеобразія русскаго православія онъ не видѣлъ. Онъ (Леонтьевъ) не зналъ бѣлаго христіанства св. Серафима, Христіанства Воскресенія» (стр. 206). Мы же въ настоящемъ изложеніи достаточно показали какая живая связь существовала между м. Филаретомъ и преп. Серафимомъ черезъ посредничество его ученика намѣстника Лавры о. Антонія. А еще ранѣе показано вліяніе на преп. Серафима аскетической византійской литературы.

¹⁾ Николай Бердяевъ. Константинъ Леонтьевъ, YMCA PRESS (1926), стр. 268.

Гдѣ же признаки «своеобразія въ русскомъ православіи»? Гдѣ же расхождение между серафимовымъ и филаретовскимъ православіемъ?

Держась православнаго ученія, Леонтьевъ отвергалъ хиліазмъ, какъ церковную ересь. Между тѣмъ, вѣра въ Царствіе Божіе на землѣ, основанная на мечтательной любви къ всечеловѣчеству, стала послѣ пушкинской рчи Достоевскаго общимъ моднымъ вѣрованіемъ. Леонтьевъ назвалъ эту восторженную любовь — «розовой любовью». Этого ему до сихъ поръ простить не могутъ. Ему приписываютъ будто онъ вообще отвергалъ любовь къ Богу и основывался въ дѣлѣ спасенія, руководствуясь лишь животнымъ страхомъ передъ адскими мученіями. Въ письмѣ къ одному студенту Леонтьевъ пишетъ о своемъ обращеніи: «пришла, наконецъ, неожиданная минута, когда я, до сихъ поръ вообще смѣлый, почувствовалъ незнакомый мнѣ до толѣ ужась, а не просто страхъ. Этотъ ужась былъ въ одно и то же время и ужась грѣха и ужась смерти. А до той поры я ни того ни другого не чувствовалъ. Черта завѣтная была пройдена. Я сталъ бояться и Бога и Церкви. Съ теченіемъ времени физической страхъ прошелъ, духовный остался и все возрасталъ». Страхъ Божій обязательнъ для всѣхъ христіанъ. Только у великихъ святыхъ совершенная любовь изгоняетъ страхъ.

Непризнанный никѣмъ, кромѣ нѣсколькихъ ближайшихъ друзей, измученный и больной, Леонтьевъ нашелъ душевный покой, поселившись въ Оптиной Пустыни въ усадьбѣ построенной бывшимъ ученикомъ старца Льва и составившаго его жизнеописаніе — архіепископомъ Ювеналіемъ. Годы жизни въ Оптиной Пустыни были самыми мирными и покойными въ его жизни и даже плодотворными въ смыслѣ его писаній. Здѣсь можно привести четверостишье изъ «Пророка» Лермонтова:

*Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
И вотъ въ пустынь я живу,
Какъ птицы, даромъ Божьей пищи.*

Здѣсь его духовникомъ и руководителемъ былъ о. Климентъ Зедергольмъ, сынъ пастора, магистръ греческой словесности. Послѣ его кончины, Леонтьевъ составилъ о немъ прекрасную монографію. Лишившись друга и духовника, онъ сталъ непосредственнымъ духовнымъ сыномъ старца Амвросія. Въ 1891 г. старецъ Амвросій постригъ его въ монашество съ именемъ Климента и отправилъ на жительство въ Троице-Сергіеву Лавру, зная что о. Климентъ неспособенъ подвизаться въ Оптиной Пустыни въ качествѣ рядового оптинскаго монаха, выполняя всѣ возложенныя послушанія. Прощаясь съ о. Климентомъ, старецъ Амвросій сказалъ ему: «мы скоро увидимся». Старецъ скончался 10-го октября 1891 г., а 12 ноября того же года послѣдовалъ за нимъ его постриженникъ о. Климентъ. Онъ умеръ отъ воспаленія легкихъ.

Не
Город
Рим





Живет среди Веков

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

х х х

Оступиться
и внезапно оказаться
среди детей
надгробий
и мусорных баков

бунтовать и смиряться
храбриться
подвергаться опасностям
чем-то казаться
беспрепятственно появляться
на мостах
и на скользких ступенях
развлекаться
бегать прыгать кувыркаться
и подолгу не шевелиться
в ущельях улиц
и во тьме дворов-колодцев
опомниться
наскоро попрощаться
и распасться
на составные химические элементы

калий
кальций
кремний
азот
водород
углерод
железо
и медь



Главный эффект,
производимый верлибром, —
это чудо обденной речи.
То есть это даже не главный эффект, а главное
средство. Мы видим доселе не замечавшуюся нами
пластику обденных оборотов, их своеобразную
гармоничность и тем самым наше отношение к сло-
вам, к собственной ежедневной речи становится
глубже, точнее, чувство речи и сама эта речь
углубляются... ВЗГЛЯД наш становится как бы
пристальней, и пристальность эта вознаграждается.

/ Иосиф Бродский — из рецензии
на стихотворения Геннадия Алексева. I6.XII.
I969/

Пушкин на Невском

Слово-то какое - Пушкин!

Что за человек?

- Человек с баками

в цилиндре

и с тростью.

Великий поэт.

Вот идёт он по Невскому,

помахивая тростью.

Дунул ветер

и сдул с головы его цилиндр.

Он бросился цилиндр ловить

и чуть не попал под троллейбус.

Великий поэт

из-за цилиндра

едва не лишился жизни.

Но поймал,

сдул с него пыль,

напялил на затылок,

расхохотался

и пошёл дальше,

помахивая тростью.

Великий поэт -

человек с баками и в цилиндре.

- Гляди! - Вон Пушкин идёт!

сказал я жене.

- Не может быть! -

удивилась она, -

он же в Стокгольме

получает Нобелевскую премию!

- Уже получил, -

сказал я, -

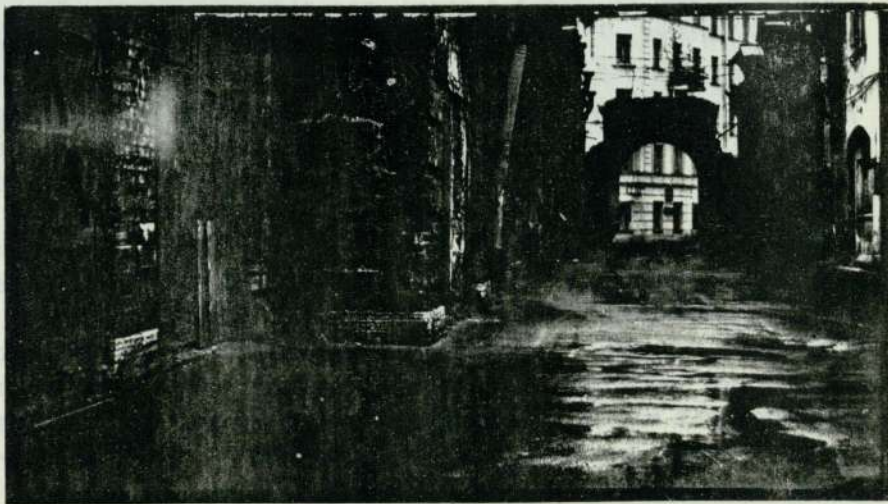
видишь, какой

весёлый!



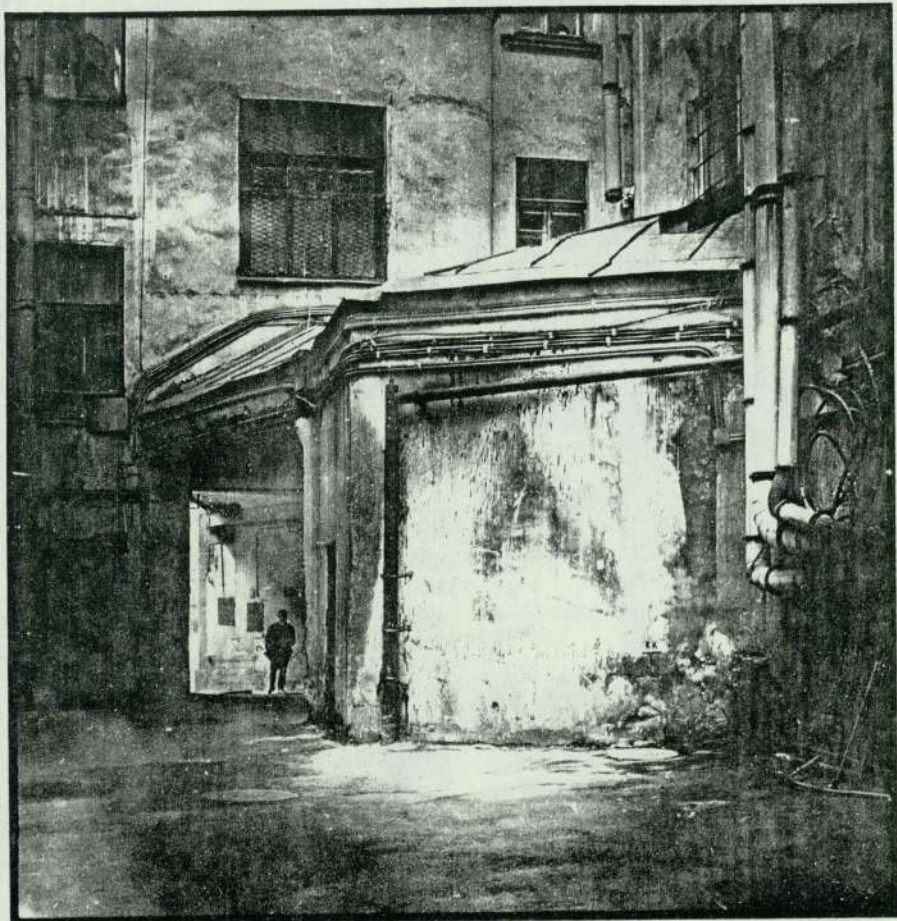
Особенностью его научного творчества был специфический угол зрения на предмет исследования. В изучении искусства вообще и архитектуры в частности существуют две полярные тенденции, которые активно взаимодействуют и переплетаются, не теряя своей противоположности: это искусствоведение как наука и искусствоведение как искусство. Оба эти направления имеют право на существование, и их плодотворность зависит от способностей их приверженцев.

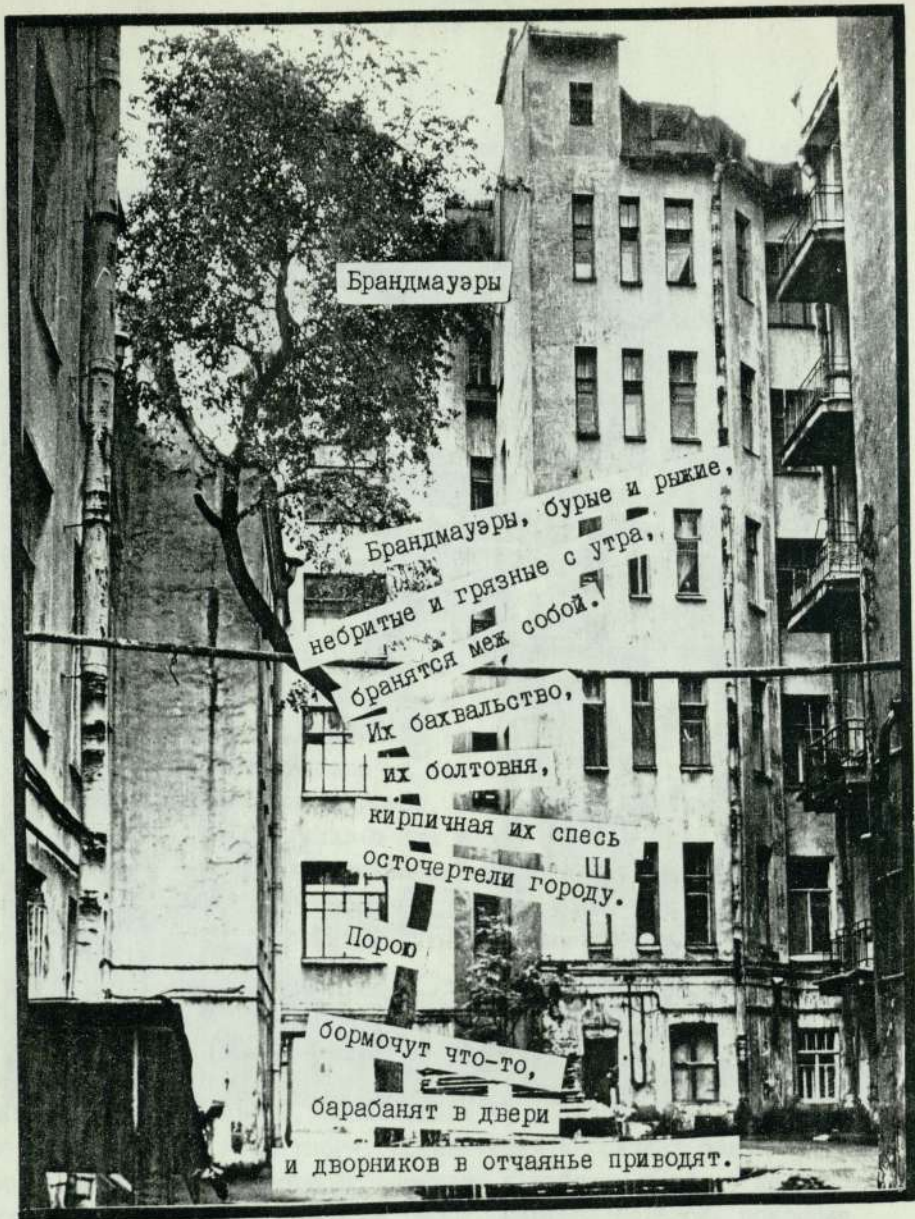
Геннадий Иванович был одним наиболее ярких в Ленинграде представителей направления искусствоведения как искусства. Его сила была в остром ВЗГЛЯДЕ художника и поэта, взгляде, который отмечал то, что ускользало от аналитических способностей сторонников строгой науки. Его статьи и доклады часто бывали одами архитектуре модерна и давали для её понимания много больше иных сухих фактологических или теоретических исследований. /Василий Горюнов, архитектор/



А брандмауэры! О них я мог бы писать венки сонетов, элегии и эклоги, поэмы, романы в стихах, просто романы и целые эпопеи!

Пожалуй, нет в городе ничего более волнующего, впечатляющего и возвышающего душу, чем эти голые, глухие, совершенно неприступные стены, лишённые выступов, ниш и окон, лишённые всего, на чём можно было бы остановить свой взгляд, превосходящие размерами и суровостью многие грандиознейшие постройки древности и невероятно загадочные в своей непомерной лапидарности и мощи! Их величие, их мужественная, угрюмая красота не поддаются никакому описанию. Я и не пытаюсь их описывать. Но, завидя брандмауэр, я всегда останавливаюсь и долго пребываю в неподвижности, потрясённый этим чудом цивилизации. Если же брандмауэров несколько, я могу стоять перед ними часами, и это меня несколько не утомляет. Однажды я проторчал перед тремя великолепными стенами от полудня до заката солнца, следя, как изменялось их освещение, как падали на них тени, как потом эти тени двигались, скользили, разрастались, удлинялись, сливались друг с другом, густели и мрачнели, как загорались и гасли рефлексы, как постепенно тускнели краски. Этих впечатлений мне хватило на неделю. Когда же она миновала, я бросился к другим брандмауэрам. Сам того не замечая, я стал изучать брандмауэры и узнал о них много такого, чего не знает, быть может, никто. У этих каменных гигантов свои повадки, свои радости и тревоги, своя амбиция, своё кирпичное самолюбие. В их жизни случаются трагические минуты. Например, тогда, когда их начинают разрушать вместе с домом, которому они принадлежат, дабы воздвигнуть на освободившемся месте новое сооружение. Соседние брандмауэры пытаются помочь гибнущему собрату, но, увы, их усилия никогда не достигают цели, и обречённая стена всё же рушится, падает на землю, раскалывается, разламывается, рассыпается на тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч кирпичных обломков, поднимая пыльную тучу, которая взмывает к небесам и после долго оседает на землю, покрывая её серой, мёртвой пеленой, покрывая её прахом покинувшего мир несчастного брандмауэра. Но случаются у этих удивительных стен и свои праздники. Например, когда их приводят в порядок — чистят пескоструйными аппаратами или красят. После этого они долго щеголяют своей опрятностью, яркостью или изысканностью колера и кажущейся молодостью (увы, все брандмауэры уже в годах, все они старички — современное зодчество обходится без брандмауэров).





Я видел - заблудившийся брандмауэр
дрожал от холода
в пустынном переулке.
Я за руку отвёл его домой.

Беда с брандмауэрами -
большие дети!

Архитектурная любовь

Я боюсь ходить по Невскому.
Каждый раз Казанский собор кричит мне:
Привет, дружище! Как давно мы не видались! -
и так обнимает меня каменными ручищами,
что у меня трещат кости.

Однажды я не вытерпел и сказал ему:
Дорогой мой,
твои объятия несколько тяжеловаты -
обнимал бы лучше Александровскую колонну!

Он вздохнул:
Я бы с удовольствием,
но она корчит из себя недотрогу,
хотя все знают,
что Зимний дворец - её любовник.
Не понимаю, чего она в нём нашла.
Это барокко - ужасная безвкусица!

Водосточные трубы



Выйдя из кладбищенских ворот, я натываюсь на вечерние сумерки. Они бесшумно, ловко пробираются в город и располагаются в нём с комфортом. Наступает их час.

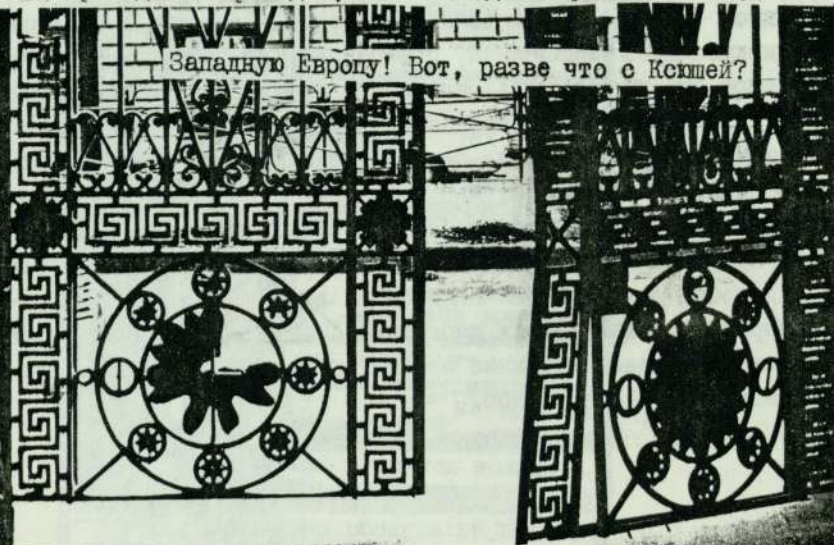
Сумерки просачиваются в переулки и наполняют доверху дворы-колодцы. Подворотни уже целиком во власти сумерек. Здесь густеет, уплотняется темнота. Сумерки прорываются на улицы и льются в обширные резервуары площадей. Они поднимаются всё выше и выше, к верхним этажам домов. Они подкрадываются к карнизам и заползают на крыши. Они грозят городу полнейшим затоплением. Они упорны и целеустремлённы. Безднаказанность их действий очевидна. Город не пытается защищаться, он покорился судьбе, он обречён.

Двигаюсь, раздвигая полумрак своим телом. Он тотчас же смыкается за мною. Плыву в полумраке, рассекая его грудью, разгребая его руками, ощущая его упругое сопротивление. Рядом со мною плывут прохожие. Чуть поодаль проплывают автобусы и такси.

Я питаю слабость к сумеречному вечернему городу. Меня волнует этот искушающий, ненадёжный, обманчивый час полутьмы-полусвета, когда фонари ещё не зажглись, когда исчезают объёмы и на их месте остаются только силуэты, когда царит синее и фиолетовое, лишь кое-где исчерканное красными, белыми и зелёными каракулями уже горящего неона. Я люблю этот час сожалений в навеки утраченном прошедшем дне и неясных надежд на благоразумие грядущей ночи. В этот час прохожие лишаются лиц. Безликость придаёт им значительность, превращая их из людей каких-то в людей вообще, в тех людей, которые обитают на моих картинах. А лицо города в полумраке становится неузнаваемым и даже слегка враждебным. Я боюсь смотреть в него. Но всё же смотрю.

Петроградская — это почти Европа, Это немножко Милан, не-
множко Париж, немножко Лондон, немножко Вена, немножко Стокгольм,
Когда у меня хорошее настроение, Петроградская и вовсе Европа.
Тогда я гуляю по аккуратным, интеллигентным, застроенным доброт-
ными домами улицам, и мне не нужен никакой Запад. Ну зачем мне
куда-то ехать, плыть, лететь? Ну зачем мне куда-то тащиться?
Не проще ли пошататься по этим приятным улицам, заглянуть в одну
из симпатичных распивочных, выпить чашку кофе в одной из уютных
кофен и выкурить трубку, сидя на лавочке в одном из часто посе-
щаемых мною сквериков и наблюдая, как беспечные ребяташки возят-
ся в песке. Ну зачем, скажите на милость, мне сначала укладывать
вещи в чемодан, потом вытаскивать их из чемодана, потом снова
запихивать их в чемодан и, наконец, опять вываливать их из чемо-
дана? Пропали он пропадом, этот чемодан! Ну её к лешему, эту

Западную Европу! Вот, разве что с Ксюшей?





А вообще-то довольно мне и Петроградской. У меня здесь чудесное ощущение, будто я за границей, но одновременно и дома. Душа моя здесь спокойна. Душа моя преисполнена здесь благодатной лени. Она как бы полудремлет, но при этом и парит где-то на уровне третьих, четвертых, а иногда и шестых этажей, стараясь из деликатности не заглядывать в окна, дабы не стать нечаянной свидетельницей интимных сцен из частной жизни граждан. Душе моей вольготно в закоулках родной Петроградской стороны.

Иду по узкой улице с высокими домами. На углу дом с башенкой. Башенка увенчана куполом, напоминающим средневековой шлем. На острие шлема - флюгер в виде флажка. На флюгере цифра - 1897. Я люблю эту башенку и этот флюгер, который давно уже не вращается и постоянно указывает на восток. Я всегда гляжу на башенку с радостью, убеждаясь в том, что никому ненужный, заржавевший, неподвижный флюгер ещё цел. "Жить бы в этой башенке, - думаю я иногда, - жить бы на самом верху, под шлемом и глядеть оттуда на городские крыши! Жить бы там уединённо, общаясь с воробьями, голубями, кошками и облаками! Жить бы и не тужить!" Улица кончается. Сворачиваю на широкий проспект. Ещё метров сто, и я у пели.

158





Когда стоишь на мосту, когда находишься между двух берегов, когда ты ни тут и ни там, возникает щемящее чувство неопределённости, случайности и необязательности существования, чувство некоей промежуточности. Сзади с тобой уже распрощались. Впереди тебя ещё не встречают. Где ты? И есть ли ты вообще? А если и есть, то не для того ли ты создан, чтобы стоять на мосту и плевать с моста в воду? И не есть ли вся жизнь наша лишь мост, переброшенный с берега на берег? Кому достался ручеек (перебежал по гнущимся, пляшущим доскам — и какж), кому настоящая, но не слишком широкая речка, а кому и широченнейшая река (с середины и берегов не видно).

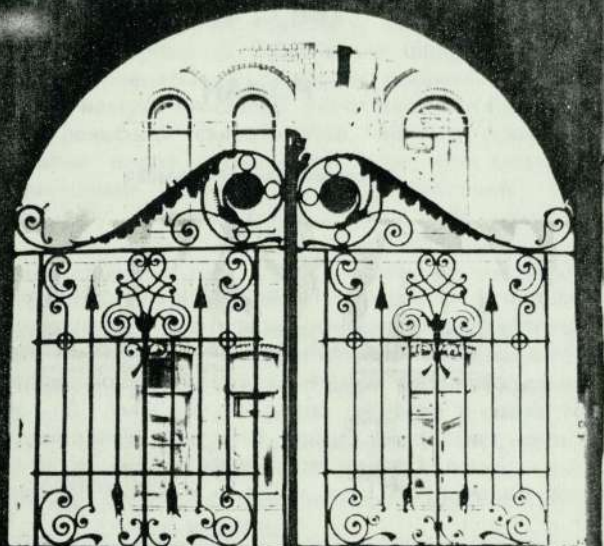
КНИЖНЫЙ
МАГАЗИН

Book
Shop



BOOKSTAND

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ



ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

рука

РОМАН

Второе исправленное издание

XLIV

Помолчите, гражданин Гуров, насчет ужасной мафии и сети преступности, организованной мафиозо, Помолчите. Советская власть это и есть совершенно организованная преступность. А говорить сейчас о нашей торговой, неорганизованной, преступной сети и прочих сетях я не хочу. Я хочу зачитать себе и вам показания Фрола Власыча. Ветеринар. Пятьдесят один год стукнул. Подсел по доносу жены. Где моя папочка?.. Вот моя папочка. А вот и донос. Зачитаем парочку мест из него...

«Прожила я с вышеназванным Гусевым, отказавшимся поменять религиозное имя-отчество на передовое Владленст Маркэныч, полторы пятилетки, но уже в начале первой досрочно подумывала о разводе, потому что Гусев вредил качеству нашего общего брака. От него всегда пахло ветеринарными животными, но он отказывался ходить в «грязные бани» даже перед седьмым ноябрю и днем смерти Ленина. Гусев издевательски хотел вступить в партию только для того, чтобы его вычистили. В ответ на мои гражданские упреки Гусев неизменно посылал меня при свидетелях... тут сучка перечисляет фамилии свидетелей — отца, матери, дворника... неизменно посылал в... для того, чтоб не повторять страшных слов, прибегну к кратким выражениям, посылал в конечный пункт перевариваемой пицци, именуя его то так, то эдак, вплоть до тухлого дупла, а также на мужской орган, принципиально не увеличивающийся в настоящее время из-за наших идейных разногласий. К маме, конечно, посылал, но не к своей, они одного поля ягоды. Неоднократно предлагал поцеловать моего отца в «место, которым он протирает ненужное кресло». Прилагаю справку о месте работы отца в город-

ском МОПРе... В пору нашей ударной половой жизни, за завтраками и ужинами, обедал Гусев, по его словам, из одной миски с животными, он развивал идею о том, что люди не имеют морального права ставить опыты на животных. Обзывал академика Павлова гнусной свиньей и считал, что опыты надо делать не с собаками, а со Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ежовым и остальной сворой, потому что Гусев отказывается их признавать не только людьми, но и животными. Однажды, съев яичницу с корейкой, он глубоко вздохнул и утверждал, что «этих полугиен, полускунсов, четверть-грифов» спустили к нам на воздушном шаре с другой, воюющей и воюющей планеты, а прививок вовремя не сделали... Доказывал, что комсомольскими работниками становятся дети родителей, перенесших сыпной тиф, холеру, травмы мозга, а также зачатые после отравления папы или мамы самогоном и ленинскими идеями. Но это цветочки, товарищи! Гусев с пеной у рта объяснял, что в нас сидит Дьявол и ест на завтрак, обед и ужин нашу совесть, стыд, волю и другие мелкобуржуазные чувства, которые неудобно перечислять в этом закрытом письме»...

Вот выдержки из письменных показаний арестованного покровителя людей и животных Фрола Власыча Гусева. Я сидел в кабинете, перечитывал «Графа Монте-Кристо», а он, расположившись удобно за моим рабочим столом, покуривая и попивая крепкий чай, вдохновенно и бесстрашно строчил свои показания. Изредка он вставал из-за стола, разминался, смотрел в окно на ночную, черную Лубянскую площадь и снова брался за перо.

Я, Фрол Власыч Гусев, обвиняемый в том, что в различных общественных местах, используя служебное положение ветеринара первого участка Сталинского района г. Москвы имени Воздушного Флота, доказывал несомненное существование в каждом советском человеке и в жителях других стран, сохранивших законные правительства, уважение к традиционным институтам культуры, и морали, равно как Бога, так и Дьявола, именуемого в просторечьи Сатаной, Чертом, Асмодеем, Нечистым, Лукавым, Шишигой, Отяпой, Хохликом и другими кличками, олицетворяющего собой ЗЛО, и могу по существу дела показать следующее.

25 октября (по старому стилю) 1917 года, находясь в служебной командировке и услышав внезапно пушечный выстрел, оказавшийся впоследствии выстрелом крейсера «Аврора», я понял, что ДЬЯВОЛ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ, ЛИШИВШИЙСЯ БОГА. Остановленный офицерским патрулем по причине остолбенелого стояния на Аничковом мосту с улыбкой высшего озарения на устах и сияющим светом во лбу, на вопрос: почему ты, болван, окаменел

в такое гибельное время, я незамедлительно ответил, чувствуя Радость, высший подъем души и одновременно ужас, слабость и мрак:

— Как Царство Божие внутри нас, так внутри нас и пекло Дьявола, господа офицеры. И Дьявол — это наш разум, лишенный Бога.

— Абсолютно правильно! — вежливо и грустно поддержал меня один из офицеров, за что я ему лично по сей день благодарен и прошу привлечь меня по статье № 58 УК РСФСР за участие в офицерском заговоре. Второй офицер был, что вполне объяснимо, груб. Он спросил:

— Где ты раньше был, философ херов? Гергель ёбаный?

Не дожидаясь моего ответа, офицеры вытащили пистолеты и бросились с криками бежать вниз по Невскому...

Медленно бредя по набережной Мойки, я явственно ощущал себя драгоценным сосудом и местопребыванием двух изумительных субстанций — Богоподобной, бессмертной и бесконечной субстанции Души (в различениях — Духа. Кто читал, не помню) и не менее прекрасной, Божественной, но, к сожалению или же к счастью, тленной, не вечной, так сказать, личной — субстанции Разума.

Вновь очарованно остановившись, я поднял изумительно легкую голову и разрыдался свободными и светлыми слезами. Я стоял у дома, в котором скончался от смертельной раны в брюшину Александр Пушкин. Очевидная неслучайность местоположения моего потрясла меня до основания. Из окон квартиры Александра Сергеевича лился свет. Мимо меня, подъезжая к подъезду, сновали экипажи и кареты. Из-под медвежьих полостей и белого сукна выскакивали неописуемой красоты дамы и лица мужского пола, имена и фамилии которых категорически отказываюсь переложить на сию казенную бумагу. Еще на улице, подхваченные музыкой, фамилии автора которой я предпочел бы не называть, они, впорхнув в зовущий подъезд, скрывались с глаз моих. И вдруг к одному из окон приблизилась знакомая мне с детства и, можно сказать, родная фигура поэта. Без видимого выражения на лице смотрел он сумерки любимого града, словно не обращая внимания на доносившиеся со стороны невыстрелы* и вопли безумных толп.

— Сия дуэль — ужасна! — так сказав, поэт отдался в руки подошедшей к нему красавицы-супруги. Их захватила мазурка и в окнах погиб свет. Переполненность моя чувствами

* Невы выстрелы — описка Фрола Власыча.

была такова, что я немедленно излил душу кучеру богатейшего экипажа, примет которого не запомнил. Я воскликнул:

— Друг мой! Воистину не было, нет и не будет у Российской истории примера более совершенного и гармонического существования в одном всенародном тении навеки оброченной Творцом при сотворении Пары — Души и Разума.

— Проваливай, пьянь! Небось баба ждет! — добродушно ответил кучер. Он показался мне глубоко родственным человеком, а его наивнейшее непонимание смысла мною сказанного — восхитительным. Дело еще в том, что я не был пьян. Я был Фролом Власычем Гусевым. Невесть откуда взявшаяся толпа увлекла меня за собой. Она была пьяна, черна и весела, как хамский поминальный траур.

— Кто умер, господа? — естественно спросил я. Раздался дружный гогот.

— Пушкин! — радостно крикнул молодой псевдокрасивый амбал, оказавшийся впоследствии крупным антипоэтом Владимиром Маяковским. Они оставили меня бессильно повисшим на парашете набережной. Осенняя река дышала в мою душу темным холодом горя. Она горестно всхлипывала, когда излётный свинец салютующих в небо ружей толпы падал в горькую воду. Порывы ветра тут же разметывали расходившиеся на воде круги, рябь хоронила их и мчала прочь.

Не помню, гражданин следовательно, сколько я так простоял. Опомнился я от забытья, когда абсолютно безликий, юркий человечек в пенсне, явно не имевший возраста, отрекомендовался мне Разумом Возмущенным и потребовал снять с плеча шинель чиновника ветеринарного ведомства. Я это незамедлительно сделал, не испытав ни малейшего чувства утраты. Бесчувствие сие происходило, полагаю, от уверенности, внушенной мне частью великих русских мыслителей, в том, что моя шинель рано или поздно тоже должна быть снята Страшною Силой.

Вынув из кармана мундира карандаш и бумагу, я пожаловался тихо и горько и написал впервые в мире на вмиг отсыревшем листке имя и фамилию грабителя: Разум Возмущенный. Я продрог до основания, а затем, затем я скомкал листок и бросил в воду. Ветер подхватил его. Глаза мои следили, когда он канет в Лету. Письмо свое я адресовал Акакию Акакиевичу Башмачкину. Текст моего письма не может быть открыт следствию до Страшного Суда.

Затем я присел на тротуар, что может подтвердить свидетель Илюшкин, разорванный в 1923 году на части при попытке не допустить осквернения и разрушения толпой Храма Господня. Я присел на тротуар. Миазмы болотного смрада сочилились сквозь каменную плоть города, восставшего на Бога.

Мне стало дурно. Штурмюя небо в моей шинельке, Разум Возмущенный с вершины Александрийского столпа хрипел песню: «и в смертный бой всегда готов».

Новый порыв пронизанного дождем ветра сорвал со столпа безликого, юркого человечка, и если бы не мои протянутые руки, быть бы ему разбитым вдребезги. Но он оказался неестественно легок. Вес, собственно, имели только шинелька, пенсне, кашне, свитерок, брючки и старенькие ботинки с исшамканными калошами. Плоть же человечка была как бы невесомым пухом.

Я отнес его на руках в близлежащий трактор. Веселие пьющих там омрачалось висевшей в клубах табачного дыма скорбью. Я сел напротив безликого человечка и омяделся... За замызганными столиками пили, пели и плясали существа, как две капли воды похожие на моего грабителя. Но возмущены они были по-разному, так же как по-разному были мертвы их подружки-Души. Что все эти существа пели, ели, пили и плясали, я не смог разобрать при всем своем желании. К нам подошел половой — разбитной малый, назвавшийся на вчерашней очной ставке Вячеславом Ефремычем Моисеевичем Буденным.

— Мне чего-нибудь идеального, — попросил Разум Возмущенный. Я же заинтересовался чаем с бубликами и земляничным вареньем. Половой довел до моего сведения, что с этой минуты в тракторах и кабаках необъятной Российской Империи ни бубликов, ни земляничного варенья не будет уже никогда.

Я дрожал от озноба и тоски, но бесцветный и холодный чай не согрел меня и не напоил.

— Ну-с, — спросил я своего визави, разделявавшего какое-то блюдо на совершенно пустой тарелке, — а где же ваша подружка, где же ваша жена? Почему вы одиноки?

— Я бросил ее! — И Разум Возмущенный поведаль мне, легкомысленно улыбаясь, историю своего освобождения. — Решение бросить Душу созревало во мне давно. Но, как говорится, вчера было рано, а завтра — поздно. Логично?

Я кивнул и заткнул уши, чтобы не слышать рева пьяных Разумов: «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!»... Мой визави продолжал:

— Не стану скрывать: Бессмертие Души с какого-то времени стало меня ужасно раздражать. Кстати, детства своего я не помню. Его как бы не было вовсе. Да-с! Раз-дра-жать!.. Почему, спрашивается, я, можно сказать, всемогущ, заглядываю, как к себе домой, в тайны материи, сучусь, кручусь, хитрю, шнуруюсь, гад морских, замечьте, изучаю, дольнюю розу в гербарии имею, вес Земли знаю, правило винта — ночью разбудите — скажу, гену без очков вижу, у вас, кажется,

девятой хромосомы не хватает, батенька. О скорости света, пересекающихся параллельных, моем лаборанте Рентгене я уж не говорю. Лелею мечту захреначить теорию общего поля, кварки отыскать, новый порядок навести в микромире и сигануть в макрокосмос. Руки чешутся дорваться до черной дырочки, до любопытнейшей, притягательнейшей черной дырульки! Да и в искусстве я давно не чужак. Столько «измов» наплодить — это, батенька, всяким Бенвенутам Ван-Гогенам Рублевым не снилось...

Короче говоря, я — Разум — с ног сбился, днем и ночью мозгами шевелю, а они ведь не бессмертны, вроде моей Душеньки, они у меня, позвольте заметить, тленны-с! Им не дано за смертные пределы заглянуть, в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем. Им, мозгам, второй закон термодинамики покоя не дает, холодеет ведь все на глазах, спастись надо, а Душу он, извините, не е-бёт! Она вообще сидит, сложа руки или свернувшись кошечкой, ловит мгновение в нашем общем Теле, оставляющем желать много лучшего в смысле конструкции, возможностей, запаса прочности, уязвимости, возмутительного принципа бионесовместимости и незащитности перед лицом игры случайных сил природы. Я жажду коррекции Тела и поставил эту проблему перед инженерной биологией. В сказанном нет ни грана лжи и преувеличения моих заслуг, любезный...

— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных, — представился я. — Еще я Пушкина люблю, крепкий чай с бубликами и земляничное варенье.

— Да-с, Фрол Власыч! Душа бесконечно ленива в силу своего гарантированного бессмертия и именно поэтому эгоистична как собственное «Я». О-о! Мы большие эгоистки!.. Мы говорим: ведь дней и миллионов лет у нас много. Зачем ты, Разум, суетишься? Лови, как я, мгновение... Слышите? Я должен ловить какое-то несчастное мгновение, разбрасываться по пустякам, когда дел невпроворот, когда несовершенно все, буквально все изобретенное мною кроме колеса. С колесом уже ничего не поделаешь. Несовершенное меня злит, но и совершенства я терпеть не могу, поскольку считаю покой мещанством. «Лови мгновение!»

Одним словом, сказалась однажды разница в возрасте и в отношении к трем ликам времени. Я говорю: хорошо тебе толковать о Царстве Божьем, тащить меня в него, а я царство Божье на Земле хочу построить, если я действительно Богоподобен. Ты посмотри, говорю, Душа моя, что в мире происходит! Бардак в труде и капитале, эксплуатация, войны, болезни! Ге-мор-рой! Как можно было, выпуская человека, проморгать геморрой? Тут она расплакалась. Слезы. Почему, скажите мне, Он изобрел слезы для очищения

глазного яблока от пыли и мусора, а использует их преимущественно одна Душа не по назначению, для целей, далеких от промывки зрачков и белков? И так во всем! Не ра-ци-о-наль-но!

И наоборот, возьмите, Фрол Власыч, член нашего тела. Почему в случае со слезами Душа считает, что слезы и плач о какой-нибудь погибшей собаке отличают нас от животных в хорошем смысле, а член, жаждущий разнообразных удовольствий, наломавший немало дров в искусстве, жизни, политике и финансах, член живой, беспокойный, неутомимый, авантюристичный, бедовый, должен как раз уподобиться члену крота или же тигра, функционируя исключительно по расписанию, как орган деторождения? Почему?.. Что за диалектика? То отличишься, плача, от свиньи, то будь сдержан в желаниии, как динозавр. Недаром они передохли от расписания. Даешь сексуальную революцию! Логично? Но это все чепуха!

Мы, я убежден, произошли от обезьяны, а главное: идей нет никаких у Души. Как же можешь ты, вскричал я однажды, без идей? Опять заплакала Душа. Мне, говорит, просто нравится жить. Мне совсем не нужны идеи. А цели, спрашиваю строго, у тебя есть? Или тебе и цели не нужны? Нет, говорит, не нужны. Жизнь сама есть идея и цель. Вот до чего мы докатились, Фрол Власыч! Совместная, так сказать, идея и цель стали лично мне неважною. Вечная ревность Души к моей служанке Науке сделалась безрассудной и навязчивой. На каждом шагу поучения. Мораль. Внушение образа жизни... Еще чайку?

— Спасибо, это — не чай, — ответил я вежливо, и грустно помешал ложечкой свинцовую жидкость, накапавшую в мой стакан с тучи катаклизма.

— Тебе, говорю, хорошо проповедовать любовь к ближнему, к миру, к цветочкам и козочкам! Ты бессмертна, а я тленен! Тленен! Вот скончается это наше тело, в котором мы живем тридцать четвертый год, и тогда что? Что? Ты ведь, не лги, что ты не мечтаешь об этом, ты тут же перейдешь в другое тело, а я? Я куда денусь? В тартарары? Спасибочки! Надо брать от жизни все, что можешь! И я возьму! Я не один! Нас миллионы, возмущенных таким порядком вещей! Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!..

Чувствую: не выдержит сейчас обиды и уйдет Душа. Ан — нет. Только болит и плачет! В садизм меня вводит! А с кем ты, ору, до меня жила? Что ты ему, тому, в другой жизни, говорила? Тоже Богом страдала? Меня не постращаешь! Нету твоего Бога вовсе! А если есть, то почему он мучаться заставляет, заперев на семь замков свои тайны? Геморрой зачем телу, а тебе страдания? Зачем богатые и бедные, веселые и неудачливые? Зачем таланты и трамвайные контролерши? Почему Вера Холодная и Дунька Горба-

тая? Антиномии на хрена, я тебя спрашиваю, Душа? Трагедии, может, тебе нужны? А я в них не нуждаюсь! Если твой Бог не снимает трагизма существования, то я сам его сниму! Я сам по себе! Я в конце концов не только мир насилья могу разрушить, а вообще сдвинуть планету с оси! Сегодня нету опоры — завтра будет. Придумаем. Нарисуем... Вскипим...

Ссора, короче говоря, ужасная. Уже без слез, правда, но с упрямством с ее стороны, настырностью и отсутствием логики, и обвинениями в говнистом характере. Самоубийственно, говорит, ведешь ты себя, Разум. Гордыня у тебя появилась, не говоря о Науке. А ведь могли бы мы жить душа в душу, как в детстве или как мудрые люди живут. Могли бы. Но ты, говорит, изменник! Идея тебе дороже, чем я, чем наша нелегкая, единственная Жизнь, чем мир, который ты хочешь переделать. Если ты устал его объяснять — отдохни. Переделаешь ты мир только к худшему. Давай к морю уедем.

— Да! — отвечаю. — Вам не скучно, Фрол Власыч?

— Продолжайте, пожалуйста. Я слушаю вас с большим интересом, — ответил я.

— Да! — отвечаю. — Не могу я переделать мир к худшему моею собственной рукой, а главное, с моей великой идеей диктатуры пролетариата, которая будет такой могучей и всеобщей, что государство само собой подойдет под нее, как змея под тяжкой колодой. И не мешай нам, не мешай! Я имел в виду себя, Служанку-науку и Гордыню. Гордыня — изумительная бабенка! Такую штучку умеет преподнести, что распалает огненно и даже удовлетвориться не дает. В сладострастном напряжении по месяцу иногда удерживает. Мы, говорю, теперь в партии, при Великой Идее. Партия — единственное, что нам не изменит. И хватит с меня твоих надклассовых мыслишек насчет «не убий», «не укради», «почитай папу с мамой». Почему же не убить миллионера и не отхапать у него миллионы, нажитые на нашей крови и труде? Логично? Странно даже как-то не убить и не отхапать. Почему ты им прощаешь такое хамство, а меня призываешь к смирению, тред-юнионизму, эволюции, уважению общих с Морганамии-Дюпонами-Рябушинскими ценностей? Какие у нас общие, говорю, ценности, если у меня одни неполноценности? Выбиваю этим вопросом почву из-под ног Души. Бриллианты? Поместья? Недра? Повара? Балы? Актриски? Курорты? Дворцы? Может, заводы и фабрики? Сука — ты, говорю аргументированно, — ты жалким меня видеть хочешь, у меня шинели даже нету! Вот до чего я дошел! Мне на улицу не в чем выйти с братьями по классу, чтобы всю власть Советам передать.

Поверьте, Фрол Власыч, в споре, пользуясь своим бесмертием, мы не гнушаемся никакими низкими контраргу-

ментами. О-о! Тут мы особенно ехидны, циничны и безудержны! Тут мы показываем свое истинное лицо!

Ты, говорит она мне с убийственным прямо-таки спокойствием, чем талант свой пропивать, заработай и шинельку приобрети с ботинками новыми. Кстати, Фрол Власыч, какой у вас размер ноги?

— С детства не любя цифр, я покупаю обувь на глазок, — ответил я искренно. — Представьте себе, ни разу не ошибся, да и покупать обувку приходится не часто. К чему — часто?

— Большая странность. Размер ноги у вас не мой, а у меня, кажется, ваш. Так может быть? Или это новая реакционная антиномия?

— Может! — ответил я, простодушно рассмеявшись, что могла бы подтвердить Дарья Петровна Аннушкина, впоследствии ограбленная и изнасилованная бандитами по выходе из ломбарда, где она заложила обручальное кольцо по случаю голода детей. Хмыкнув и примериваясь ко мне взглядом, Разум Возмущенный продолжал:

— Тебе, — говорю, — приятно, когда люди пальцами показывают на мою неполноценность! Поэтому ты и толкуешь, пользуясь бессмертием, о ценностях, общих для меня и Рокфеллера! Архицинично это, мадам! И советами поэтому велишь пренебрегать сатанинскими!

О-о! Тут мы не выдерживаем! Тут мы прибегаем к самым низким уловкам, чтобы удержать некоторых под каблучком-с!.. С чего это я взял, что она бессмертна? Откуда такая невротическая уверенность у Вас (мы большие любительницы переходить высокомерно на «Вы») в серьезных гарантиях? Гарантий у меня, сэр, никаких нет. Я верую, счастлива, что верую, и хотела бы разделить с вами и веру и счастье вознесения молитвы к стопам Творца...

Но им, видите ли, грустно, бесконечно грустно (мы любим уверять, что все наши чувства — бесконечны, не менее!), когда всеми своими действиями я гублю ее, мою Душу, гублю и себя и ее, взбунтовавшись, изменив своему божественному назначению и начав служить ложной идее освобождения рабочего класса. От чего вы, сэр, хотите его освободить?.. В который раз приходится объяснять, что от власти капитала и эксплуатации человека человеком. Прибавочную же стоимость мы станем делить и богатеть, пока не придет коммунизм, где денег вообще не будет, а потребность трудиться станет такой же органической, как желание выпить и закусить. Заметьте, Фрол Власыч, как страшна и трудна совместная жизнь Разума и Души в одном Теле, если Идеи и Цели ей органически чужды! У нее ни разу, буквально ни разу не появлялось желания выпить... Мы в этом не нуждаемся... Мы пьяны от жизни. У нас перманентный восторг!..

От-вра-ти-тель-ный эгоизм-с! Каждый раз приходится склонять Душу к выпивке, но она от нее не пьянеет. Лишена кайфа-с! Он, дескать, чужд ей, как мне боль.

Объяснил, от чего хочу освободить рабочий класс, а затем перedelать мир на разумных началах.

О-о! Тут мы садимся на своего любимого конька! Вы, говорит, освободите рабочего, инженера и техника от власти Путилова, но еще более страшная и бессовестная сила сядет на рабочую шею — безликий государственный капитал, которым в свою очередь распорядятся сумасброды, самодуры, самодержцы всех рангов и самоубийцы вроде вас, восславляющие чужой труд и проклинающие собственный. Одумайтесь! Взгляните: я мертвею на ваших глазах.

В таких случаях я вскипаю и, стоя буквально на грани пареообразного состояния, дерзко парирую: Это — шантаж, мадам!

Мы, естественно — в истерику!.. Вы — Разум, потерявший Бога! Вы — Дьявол! Одумайтесь! Каждый миг есть у вас возможность покаяния, прощения и воскресения. Неужели лишение кайфа тяжелей для вас потери Бога?

Сегодня, 25 октября 1917 года, я вскипел окончательно. Топая ногой. Не будет, говорю, ее больше в этом доме. Живите тут со своим Богом. А мы как-нибудь не пропадем.

В этом момент, показавшийся мне, гражданин следовательно, историческим, фантастическим, лишенным оснований логики, нравственности и человеколюбия, в трактир вбежал господинчик, смахивающий на Черта, Асмодея, Сатану, Дьявола и Жижигу. Он протер желтую длань над дымом и кипением возмущенных Разумов, воскликнул:

— Есть такая партия! — и сгинул так же молниеносно, как изначально возник.

— Вот как следует ловить мгновение! — восхищенно сказал мой собеседник. — Позвольте, Фрол Власыч, не отклоняться, но проститься: мировые дела-с!

— Минутку! — смущенно сказал я. — А как же ваша Душа? Что с ней?

— Меня это не касается. Пока что мы оба исторически вынуждены пребывать в одном теле. Убежден, что недолго час, когда Разум восторжествует и над проблемой раздела жилплощади тела. Почтище задачку сейчас решаем. Главное — кипение! Хотя выслушивать кухонные разговорчики о том, что я погубил Душу, что вокруг масса чудесных браков, и в гениях А, Б, В, Г, Д прекрасно уживаются друг с другом, любя жизнь и совершенствуя миропорядок, Души и Разумы, архипринеприятно. Будьте любезны, ваши ботиночки с калош-ками!

— Вы сами изволили заметить, что у меня размер не

ваш, — резонно сказал я, на что Разум Возмущенный не менее резонно возразил:

— Это у вас размер ноги не мой, а у меня ваш размерчик, ваш. Мы подобные антиномийки сымаем по-своему. Канты мучались с ними, а мы — по-нашенски, вторую калошкx, пожалуйста, скиньте, по-действительному, по-разумному... запасец пригодится. Всего вам...

— Фрол Власыч Гусев — покровитель людей и животных, — вновь подсказал я, не чувствуя ни малейшей обиды, но лишь скорбь и сожаление.

Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один, умрем в борьбе за это, внезапно хором запели присутствующие, и вытянуло их всех до единого мощною тягою вместе с дымом и паром из трактира, как если бы действовали снаружи смерчи и враждебные вихри.

На ваш прямой вопрос, гражданин следовательно, относился ли я сочувственно к революции и восставшим массам, отвечу так, ознакомившись предварительно со статьей УК, предусматривающей наказание за ложные показания: о революции первый раз слышу. Восставших масс не заметил. Видел толпу безумцев, не ведающих что творят. Отнесся к ним сочувственно, предвидя злобные последствия бунта. Захоронил в земле Летнего сада двух кошек, собаку, ворону и воробья, убитых булыжниками пролетариата и шальными пулями. Подробней по существу дела могу показать следующее:

Кончал я свою ночную Одиссею босой и раздетый, но холод стоп своих превозмогал. Мимо меня сновали безликие кипящие возмущенцы и мертвые души. Я вновь, не заметив как, очутился у дома на Мойке. Окна его, к моему удивлению, сияли, и свет лился на улицу вместе с музыкой. Музыка была светла, как мудрая речь. Вновь к одному из окон приблизилась фигура вовсе не умиравшего поэта Пушкина и вновь, взглянув на черные сумерки, разрываемые то выстрелами, то сполохами, он скорбно сказал:

— Безумна сия дуэль!

Меня пронзило счастье общения с человеком, хоть что-то понимавшим и чувствовавшим в происходящем. И я пошел дальше, прочь из города, соблезнуя утратившим имуществом и ближних. Я говорил, помня музыку, лившуюся из сияющих окон:

— Смирите вопль и не кляните Бога! Не глупо ли вопить: Боже! Если ты есть, зачем ты допускаешь безумие и гибель, освящаешь торжество зла, ужас войн и страдание невинных? Глупо, господа, глупо! Не вопите! То не Бог, то Дьявол творит Зло! И Дьявол — есть наш Разум, утративший Бога. Он — в нас. Но, употребив не на благо дар Свободы, презрев мудрый завет, опьяненный своеволием, бросивший Душу, Разум

творит зло, как в истории рода, так и в людской одинокой судьбе. Бог ли учит нас вражде и равнодушию? Нет! Учит ли он брата восстать на брата, друга предать друга, и всех, как один, умереть в борьбе за ЭТО? Нет! Разум, утративший Бога и уstraшившийся, стремится в Дьявольском безумии к еще более страшной для него смерти и находит ее. Но Разум, бесстрашно глядящий в тайну лица Смерти, благодарен самому малому мгновению жизни и имеет его, даруя себе и нам радостное одухотворение. Не вопите, обиженные и невинные! Рассмотрите того, кто возмущает вас и призывает сжечь в сердце завет! Вместо него он принес вам Советы. Он — Дьявол! Бойтесь его Советов! Совет — это навязываемая идея!

Именно в этот момент к моим босым ногам пала убитая на лету шальной пулей ворона.

— Господи, — сказал я. — Спасибо тебе за ужас и радость жизни, за свет и мрак, за песню и смерть птицы, за жар и озноб. Спасибо за то, что в теле моем пребывают в невозмущенном упреками мире, согласии и детском удивлении Разум и Душа. Господи! Пошли мне, как птице, случайную смерть на лету! Спаси нас всех от Советов, то есть от власти навязанных идей!

В добавление к сказанному показываю: умирая, ворона произнесла: «Кар-р». Мне кажется, как ветеринару, что она чего-то не договорила. Чего именно, сказать не могу.

К сему: Фрол Власыч Гусев, умирающий от доносов, но все еще живой покровитель животных и лжесвидетелей по его делу. Я их простил.



"Писатель-издатель" предлагает читателям следующие книги Юза Алешковского, имеющиеся на небольшом складе:

"НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" — научно-фантастическая повесть о карманном воре, ставшем мужественным донором спермы в страшные годы разгула сталинско-лысенковской реакции в отечественной биологии.

"МАСКИРОВКА" (в одной книге с "НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ") — повесть о распаде души и сознания советского обывателя — типичной жертвы власти и режима. Цена книги 8 долларов.

"КЕНГУРУ" — роман о международном жулике и авантюристе. Цена — 10 долларов.

"СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК" — скорбная повесть о несчастном инвалиде Отечественной войны. Цена — 10 долларов.

"БЛОШИННОЕ ТАНГО" — повесть о человеке, чей уникальный дар обоняния КГБ хотел взять себе на службу. Цена — 8 долларов.

"СМЕРТЬ В МОСКВЕ" — роман-триллер о последних днях Л. Мехлиса — одного из самых гнусных сатрапов И. Сталина. Цена — 15 долларов.

Скидка пенсионерам и лицам находившимся в заключении в ГУЛАГе — 25%. При заказе до 7 ноября 2017 года скидка 25%.

Заказы (чеки и мажор-ордера) направлять на имя Юза Алешковского, по адресу:

394 High St., Middletown, CT 06457

Пересылка, как говорили в бухте Ванна, бесплатно.



ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ



НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
МАСКИРОВ

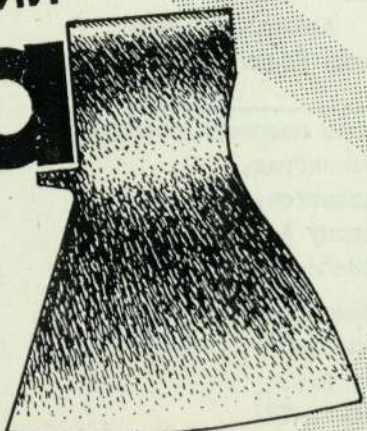
...о, есть бомбовые заводы у нас под землей
ам разберусь. Поеду в деревню, колодец выры
наследственности у моего сына Славки отвечаю
тельно. Я лично, до того, как пить начал, был то
разряда. Дуська моя — шефповар рабочей столово
бы она по „би-би-си“ рассказала, чем кормит пар
род, при том, что народ откормил партию, как я
можешь сажать, куда хочешь. Все равно я поеду в
синку получать премию за то, что я, бывший алко
Фадька, отстаиваю право человека получать за свой
нический труд впервые в истории мясо, масло, мо
овощи и фрукты на столбовой дороге человечества.
кироваться больше не желаю и другим не веляю. Ми
перь с бывшим отцом водородной бомбы будем раб
на пару. Он пускай качает с политбюро права насчет
бомь слова, психушек, интуризма и так далее, а я
мусь остальной жизнью. Столовыми, гастроном
промтоварами, вредительством в винно-водочной
мысленности, пидарсами длинноволосыми: всего
перечтешь. Работы непочтатый край. Делать мне все ра
будет не хера на второй группе по мании преследовани
Вот я и займусь вопросом обмана, унижения и издеват
ства над человеком в сфере бытового обслуживания. Э
тем обобщу все это дело и пошлю в „Правду“ передову
„Советская власть плюс электрофикация нам — до ла
мыслящий! Я не мыслю себе такого положения, при к
для Подгорного водку выпускают очищенную, при к
для меня сивушную, от которой мою голову... Молч
Ой, молчу! Не надо звать санитаров! Молчу! Но я ск
жу еще всего лишь одно слово: Люди! Не грейте на ко
ше портейна! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вку
питательно! Долой „Солицедар“! Ша-а-а-бу!

— 128 —

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

РУКА

РОМАН



На стр. 89 воспроизведён
подлинный документ, при-
надлежавший Льву Евгенье-
вичу Арнесу - двоюродно-
му брату Л.А.Арнес.

Лев Арнес /БЕЛ/ - поэт,
друг В.Млобинкова,
П.Митурича, Г.Петникова,
Т.Курилина...
/см. "Сумерки осенне-
весенний салон к 60-летию
русского авангарда/

Редакция: Алексей Гурьянов
/ответственный редактор номера/
Александр Новаковский,
Дмитрий Синочкин.
При участии Арсена Мирзаева.

Оформление и макет:
Александр Клопов.
При участии Елены Ивановой.

По вопросам подписки обращаться:
195197 Ленинград,
пр. Металлистов, ПЗ-20,
Новаковскому А.Е.
/тел. 213-52-08/

195253 Ленинград,
ул. Тухачевского, 5-4-2,
Гурьянову А.Ю.
/тел. 310-45-75/

Лев Арнес

* Обл. К
Ка - /у Хлебникова/ двойник ду

Образы розовые вечера, облака
Лаком точно кровию обрызганы
Золотыми копыями пронизаны
Знаком Сириозым голубеет облик И

15/X 1928/47

Фото Г.И.Алексеева,
М.Н.Микиштьева, Р.В.Гова

